

Свеча горела

Майк Гелприн

Звонок раздался, когда Андрей Петрович потерял уже всякую надежду.

— Здравствуйте, я по объявлению. Вы даёте уроки литературы?

Андрей Петрович взгляделся в экран видеофона. Мужчина под тридцать. Строго одет — костюм, галстук. Улыбается, но глаза серьёзные. У Андрея Петровича ёкнуло под сердцем, объявление он вывешивал в сеть лишь по привычке. За десять лет было шесть звонков. Трое ошиблись номером, ещё двое оказались работающими по старинке страховыми агентами, а один попутал литературу с лигатурой.

— Д-даю уроки, — запинаясь от волнения, сказал Андрей Петрович. — Н-на дому. Вас интересует литература?

— Интересует, — кивнул собеседник. — Меня зовут Максим. Позвольте узнать, каковы условия.

«Задаром!» — едва не вырвалось у Андрея Петровича.

— Оплата почасовая, — заставил себя выговорить он. — По договорённости. Когда бы вы хотели начать?

— Я, собственно... — собеседник замялся.

— Первое занятие бесплатно, — поспешно добавил Андрей Петрович. — Если вам не понравится, то...

— Давайте завтра, — решительно сказал Максим. — В десять утра вас устроит? К девяти я отвожу детей в школу, а потом свободен до двух.

— Устроит, — обрадовался Андрей Петрович. — Записывайте адрес.

— Говорите, я запомню.

В эту ночь Андрей Петрович не спал, ходил по крошечной комнате, почти келье, не зная, куда девать трясущиеся от переживаний руки. Вот уже двенадцать лет он жил на нищенское пособие. С того самого дня, как его уволили.

— Вы слишком узкий специалист, — сказал тогда, пряча глаза, директор лицея для детей с гуманитарными наклонностями. — Мы ценим вас как опытного преподавателя, но вот ваш предмет, увы. Скажите, вы не хотите переучиться? Стоимость обучения лицей мог бы частично оплатить. Виртуальная этика, основы виртуального права, история робототехники — вы вполне бы могли преподавать это. Даже кинематограф всё ещё достаточно популярен. Ему, конечно, недолго осталось, но на ваш век... Как вы полагаете?

Андрей Петрович отказался, о чём немало потом сожалел.

Новую работу найти не удалось, литература осталась в считанных учебных заведениях, последние библиотеки закрывались, филологи один за другим переквалифицировались кто во что горазд.

Пару лет он обивал пороги гимназий, лицеев и спецшкол. Потом прекратил. Промаялся полгода на курсах переквалификации. Когда ушла жена, бросил и их.

Сбережения быстро закончились, и Андрею Петровичу пришлось затянуть ремень. Потом продать автомобиль, старый, но надёжный.

Антикварный сервиз, оставшийся от мамы, за ним вещи. А затем... Андрея Петровича мучило каждый раз, когда он вспоминал об этом — затем настала очередь книг. Древних, толстых, бумажных, тоже от мамы. За раритеты коллекционеры давали хорошие деньги, так что граф Толстой кормил целый месяц. Достоевский — две недели. Бунин — полторы.

В результате у Андрея Петровича осталось полсотни книг — самых любимых, перечитанных по десятку раз, тех, с которыми расстаться не мог. Ремарк, Хемингуэй, Маркес, Булгаков, Бродский, Пастернак... Книги стояли на этажерке, занимая четыре полки, Андрей Петрович ежедневно стирал с корешков пыль.

«Если этот парень, Максим, — беспорядочно думал Андрей Петрович, нервно расхаживая от стены к стене, — если он... Тогда, возможно, удастся откупить назад Бальмонта. Или Мураками. Или Амаду».

Пустяки, понял Андрей Петрович внезапно. Неважно, удастся ли откупить. Он может передать, вот оно, вот что единственно важное. Передать! Передать другим то, что знает, то, что у него есть.

Максим позвонил в дверь ровно в десять, минута в минуту.

— Проходите, — засуетился Андрей Петрович. — Присаживайтесь. Вот, собственно... С чего бы вы хотели начать?

Максим помялся, осторожно уселся на край стула.

— С чего вы считаете нужным. Понимаете, я профан. Полный. Меня ничему не учили.

— Да-да, естественно, — закивал Андрей Петрович. — Как и всех прочих. В общеобразовательных школах литературу не преподают почти сотню лет. А сейчас уже не преподают и в специальных.

— Нигде? — спросил Максим тихо.

— Боюсь, что уже нигде. Понимаете, в конце двадцатого века начался кризис. Читать стало некогда. Сначала детям, затем дети повзрослели, и читать стало некогда их детям. Ещё более некогда, чем родителям. Появились другие удовольствия — в основном, виртуальные. Игры. Всякие тесты, квесты... — Андрей Петрович махнул рукой. — Ну, и конечно, техника. Технические дисциплины стали вытеснять гуманитарные. Кибернетика, квантовая механика и электродинамика, физика высоких энергий. А литература, история, география отошли на задний план. Особенно литература. Вы следите, Максим?

— Да, продолжайте, пожалуйста.

— В двадцать первом веке перестали печатать книги, бумагу сменила электроника. Но и в электронном варианте спрос на литературу падал — стремительно, в несколько раз в каждом новом поколении по сравнению с предыдущим. Как следствие, уменьшилось количество литераторов, потом их не стало совсем — люди перестали писать. Филологи продержались на сотню лет дольше — за счёт написанного за двадцать предыдущих веков.

Андрей Петрович замолчал, утёр рукой вспотевший вдруг лоб.

— Мне нелегко об этом говорить, — сказал он наконец. — Я осознаю, что процесс закономерный. Литература умерла потому, что не ужилась с

прогрессом. Но вот дети, вы понимаете... Дети! Литература была тем, что формировало умы. Особенно поэзия. Тем, что определяло внутренний мир человека, его духовность. Дети растут бездуховными, вот что страшно, вот что ужасно, Максим!

— Я сам пришёл к такому выводу, Андрей Петрович. И именно поэтому обратился к вам.

— У вас есть дети?

— Да, — Максим замялся. — Двое. Павлик и Анечка, погодки. Андрей Петрович, мне нужны лишь азы. Я найду литературу в сети, буду читать. Мне лишь надо знать что. И на что делать упор. Вы научите меня?

— Да, — сказал Андрей Петрович твёрдо. — Научу.

Он поднялся, скрестил на груди руки, сосредоточился.

— Пастернак, — сказал он торжественно. — Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела...

— Вы придёте завтра, Максим? — стараясь унять дрожь в голосе, спросил Андрей Петрович.

— Непременно. Только вот... Знаете, я работаю управляющим у состоятельной семейной пары. Веду хозяйство, дела, подбиваю счета. У меня невысокая зарплата. Но я, — Максим обвёл глазами помещение, — могу приносить продукты. Кое-какие вещи, возможно, бытовую технику. В счёт оплаты. Вас устроит?

Андрей Петрович невольно покраснел. Его бы устроило и задаром.

— Конечно, Максим, — сказал он. — Спасибо. Жду вас завтра.

— Литература это не только о чём написано, — говорил Андрей Петрович, расхаживая по комнате. — Это ещё и как написано. Язык, Максим, тот самый инструмент, которым пользовались великие писатели и поэты. Вот послушайте.

Максим сосредоточенно слушал. Казалось, он старается запомнить, заучить речь преподавателя наизусть.

— Пушкин, — говорил Андрей Петрович и начинал декламировать.

«Таврида», «Анчар», «Евгений Онегин».

Лермонтов «Мцыри».

Баратынский, Есенин, Маяковский, Блок, Бальмонт, Ахматова, Гумилёв, Мандельштам, Высоцкий...

Максим слушал.

— Не устали? — спрашивал Андрей Петрович.

— Нет-нет, что вы. Продолжайте, пожалуйста.

День сменялся новым. Андрей Петрович воспрянул, пробудился к жизни, в которой неожиданно появился смысл. Поэзию сменила проза, на неё времени уходило гораздо больше, но Максим оказался благодарным учеником. Схватывал он на лету. Андрей Петрович не переставал удивляться, как Максим, поначалу глухой к слову, не воспринимающий, не чувствующий вложенную в язык гармонию, с каждым днём постигал её и познавал лучше, глубже, чем в предыдущий.

Бальзак, Гюго, Мопассан, Достоевский, Тургенев, Бунин, Куприн.

Булгаков, Хемингуэй, Бабель, Ремарк, Маркес, Набоков.

Восемнадцатый век, девятнадцатый, двадцатый.

Классика, беллетристика, фантастика, детектив.

Стивенсон, Твен, Конан Дойль, Шекли, Стругацкие, Вайнеры, Жапризо.

Однажды, в среду, Максим не пришёл. Андрей Петрович всё утро промаялся в ожидании, уговаривая себя, что тот мог заболеть. Не мог, шептал внутренний голос, настырный и вздорный. Скрупулёзный педантичный Максим не мог. Он ни разу за полтора года ни на минуту не опоздал. А тут даже не позвонил.

К вечеру Андрей Петрович уже не находил себе места, а ночью так и не сомкнул глаз. К десяти утра он окончательно извёлся, и когда стало ясно, что Максим не придёт опять, побрёл к видеофону.

— Номер отключён от обслуживания, — поведал механический голос.

Следующие несколько дней прошли как один скверный сон. Даже любимые книги не спасали от острой тоски и вновь появившегося чувства собственной никчемности, о котором Андрей Петрович полтора года не вспоминал. Обзвонить больницы, морги, навязчиво гудело в виске. И что спросить? Или о ком? Не поступал ли некий Максим, лет под тридцать, извините, фамилию не знаю?

Андрей Петрович выбрался из дома наружу, когда находиться в четырёх стенах стало больше невмоготу.

— А, Петрович! — приветствовал старик Нефёдов, сосед снизу. — Давно не виделись. А чего не выходишь, стыдишься, что ли? Так ты же вроде ни при чём.

— В каком смысле стыжусь? — оторопел Андрей Петрович.

— Ну, что этого, твоего, — Нефёдов провёл ребром ладони по горлу. — Который к тебе ходил. Я всё думал, чего Петрович на старости лет с этой публикой связался.

— Вы о чём? — у Андрея Петровича похолодело внутри. — С какой публикой?

— Известно с какой. Я этих голубчиков сразу вижу. Тридцать лет, считай, с ними отработал.

— С кем с ними-то? — взмолился Андрей Петрович. — О чём вы вообще говорите?

— Ты что ж, в самом деле не знаешь? — всполошился Нефёдов. — Новости посмотри, об этом повсюду трубят.

Андрей Петрович не помнил, как добрался до лифта. Поднялся на четырнадцатый, трясущимися руками нашарил в кармане ключ. С пятой попытки отворил, просеменил к компьютеру, подключился к сети, пролистал ленту новостей.

Сердце внезапно зашло от боли. С фотографии смотрел Максим, строчки курсива под снимком расплывались перед глазами.

«Уличён хозяевами, — с трудом сфокусировав зрение, считывал с экрана Андрей Петрович, — в хищении продуктов питания, предметов одежды и бытовой техники. Домашний робот-гувернёр, серия ДРГ-439К.

Дефект управляющей программы. Заявил, что самостоятельно пришёл к выводу о детской бездуховности, с которой решил бороться. Самовольно обучал детей предметам вне школьной программы. От хозяев свою деятельность скрывал. Изъят из обращения... По факту утилизирован... Общественность обеспокоена проявлением... Выпускающая фирма готова понести... Специально созданный комитет постановил...».

Андрей Петрович поднялся. На негнувшихся ногах прошагал на кухню. Открыл буфет, на нижней полке стояла принесённая Максимом в счёт оплаты за обучение початая бутылка коньяка. Андрей Петрович сорвал пробку, заозирался в поисках стакана. Не нашёл и рванул из горла. Закашлялся, выронив бутылку, отшатнулся к стене. Колени подломились, Андрей Петрович тяжело опустился на пол.

Коту под хвост, пришла итоговая мысль. Всё коту под хвост. Всё это время он обучал робота. Бездушную, дефективную железяку. Вложил в неё всё, что есть. Всё, ради чего только стоит жить. Всё, ради чего он жил.

Андрей Петрович, превозмогая ухватившую за сердце боль, поднялся. Протащился к окну, наглухо завернул фрамугу. Теперь газовая плита. Открыть конфорки и полчаса подождать. И всё.

Звонок в дверь застал его на полпути к плите. Андрей Петрович, стиснув зубы, двинулся открывать. На пороге стояли двое детей. Мальчик лет десяти. И девочка на год-другой младше.

— Вы даёте уроки литературы? — глядя из-под падающей на глаза чёлки, спросила девочка.

— Что? — Андрей Петрович опешил. — Вы кто?

— Я Павлик, — сделал шаг вперёд мальчик. — Это Анечка, моя сестра. Мы от Макса.

— От... От кого?!

— От Макса, — упрямо повторил мальчик. — Он велел передать. Перед тем, как он... как его...

— Мело, мело по всей земле во все пределы! — звонко выкрикнула вдруг девочка.

Андрей Петрович схватился за сердце, судорожно глотая, запихал, затолкал его обратно в грудную клетку.

— Ты шутишь? — тихо, едва слышно выговорил он.

— Свеча горела на столе, свеча горела, — твёрдо произнёс мальчик. — Это он велел передать, Макс. Вы будете нас учить?

Андрей Петрович, цепляясь за дверной косяк, шагнул назад.

— Боже мой, — сказал он. — Входите. Входите, дети.

Рэй Брэдбери

Вельд

— Джорджи, пожалуйста, посмотри детскую комнату.

— А что с ней?

— Не знаю.

— Так в чем же дело?

— Ни в чем, просто мне хочется, чтобы ты ее посмотрел или пригласи психиатра, пусть он посмотрит.

— При чем здесь психиатр?

— Ты отлично знаешь при чем. — стоя по среди кухни, она глядела на плиту, которая, деловито жужжа, сама готовила ужин на четверых. — Понимаешь, детская изменилась, она совсем не такая, как прежде.

— Ладно, давай посмотрим.

Они пошли по коридору своего звуконепроницаемого дома, типа: «Все для счастья», который стал им в тридцать тысяч долларов (с полной обстановкой), — дома, который их одевал, кормил, холил, укачивал, пел и играл им. Когда до детской оставалось пять шагов, что-то щелкнуло, и в ней зажегся свет. И в коридоре, пока они шли, один за другим плавно, автоматически загорались и гасли светильники.

— Ну, — сказал Джордж Хедли.

Они стояли на крытом камышовой циновкой полу детской комнаты. Сто сорок четыре квадратных метра, высота — десять метров; она стоила пятнадцать тысяч. «Дети должны получать все самое лучшее», — заявил тогда Джордж.

Тишина. Пусто, как на лесной прогалине в знойный полдень. Гладкие двумерные стены. На глазах у Джорджа и Лидии Хедли они, мягко жужжа, стали таять, словно уходя в прозрачную даль, и появился африканский вельд — трехмерный, в красках, как настоящий, вплоть до мельчайшего камешка и травинки. Потолок над ними превратился в далекое небо с жарким желтым солнцем.

Джордж Хедли ощутил, как на лбу у него проступает пот.

— Лучше уйдем от солнца, — предложил он, — уж больно естественное. И вообще, я ничего такого не вижу, все как будто в порядке.

— Подожди минуточку, сейчас увидишь, — сказала жена.

В этот миг скрытые одорофоны, вступив в действие, направили волну запахов на двоих людей, стоящих среди опаленного солнцем вельда. Густой, сушащий ноздри запах жухлой травы, запах близкого водоема, едкий, резкий запах животных, запах пыли, которая клубилась в раскаленном воздухе, облачком красного перца. А вот и звуки: далекий топот антилопных копыт по упругому дерну, шуршащая поступь крадущихся хищников.

В небе проплыл силуэт, по обращенному вверх потному лицу Джорджа Хедли скользнула тень.

— Мерзкие твари, — услышал он голос жены, стервятники...

— Смотри-ка, львы, вон там, в дали, вон, вон! Пошли на водопой. Видишь, они там что-то ели.

— Какое-нибудь животное. — Джордж Хедли защитил воспаленные глаза ладонью от слепящего солнца, — зебру... Или жирафенка...

— Ты уверен? — ее голос прозвучал как-то странно.

— Теперь-то уверенным быть нельзя, поздно, — шутливо ответил он. — Я вижу только обглоданные кости да стервятников, которые подбирают ошметки.

— Ты не слышал крика? — спросила она.

— Нет.

— Так с минуту назад?

— Ничего не слышал.

Львы медленно приближались. И Джордж Хедли — в который раз — восхитился гением конструктора, создавшего эту комнату. Чудо совершенства — за абсурдно низкую цену. Всем бы домовладельцам такие! Конечно, иногда они отталкивают своей клинической продуманностью, даже пугают, вызывают неприятное чувство, но чаще всего служат источником забавы не только для вашего сына или дочери, но и для вас самих, когда вы захотите развлечься короткой прогулкой в другую страну, сменить обстановку. Как сейчас, например!

Вот они, львы, в пятнадцати футах, такие правдоподобные — да-да, такие, до ужаса, до безумия правдоподобные, что ты чувствуешь, как твою кожу щекочет жесткий синтетический мех, а от запаха разгоряченных шкур у тебя во рту вкус пыльной обивки, их желтизна отсвечивает в твоих глазах желтизной французского гобелена... Желтый цвет львиной шкуры, жухлой травы, шумное львиное дыхание в тихий полуденный час, запах мяса из открытой, влажной от слюны пасти.

Львы остановились, глядя жуткими желто-зелеными глазами на Джорджа и Лидию Хедли.

— Берегись! — вскрикнула Лидия.

Львы ринулись на них.

Лидия стремглав бросилась к двери, Джордж непроизвольно побежал следом. И вот они в коридоре, дверь захлопнута, он смеется, она плачет, и каждый озадачен реакцией другого.

— Джордж!

— Лидия! Моя бедная, дорогая, милая Лидия!

— Они чуть не схватили нас!

— Стены, Лидия, светящиеся стены, только и всего. Не забывай. Конечно, я не спорю, они выглядят очень правдоподобно — Африка в вашей гостиной! — но это лишь повышенного воздействия цветной объемный фильм и психозапись, проектируемые на стеклянный экран, одорофоны и стереозвук. Вот возьми мой платок.

— Мне страшно. — она подошла и всем телом прильнула к нему, тихо плача. — Ты видел? Ты почувствовал? Это чересчур правдоподобно.

— Послушай, Лидия...

— Скажи Венди и Питеру, чтобы они больше не читали про Африку.

— Конечно... Конечно. — он погладил ее волосы. — Обещаешь?

— Разумеется.

— И запри детскую комнату на несколько дней, пока я не справлюсь с нервами.

— Ты ведь знаешь, как трудно с Питером. Месяц назад я наказал его, запер детскую комнату на несколько часов — что было! Да и Венди тоже... Детская для них — все.

— Ее нужно запереть, и никаких поблажек.

— Ладно. — он неохотно запер тяжелую дверь. — Ты переутомилась, тебе нужно отдохнуть.

— Не знаю... Не знаю. — Она высморкалась и села в кресло, которое тотчас тихо закачалось. Возможно, у меня слишком мало дела. Возможно, осталось слишком много времени для размышлений. Почему бы нам на несколько дней не запереть весь дом, не уехать куда-нибудь.

— Ты хочешь сказать, что готова жарить мне яичницу?

— Да. — Она кивнула.

— И штопать мои носки?

— Да. — Порывистый кивок, глаза полны слез.

— И заниматься уборкой?

— Да, да... Конечно!

— А я-то думал, мы для того и купили этот дом, чтобы ничего не делать самим?

— Вот именно. Я здесь вроде ни к чему. Дом — и жена, и мама, и горничная. Разве я могу состязаться с африканским вельдом, разве могу искупать и отмыть детей так быстро и чисто, как это делает автоматическая ванна? Не могу. И не во мне одной дело, а и в тебе тоже. Последнее время ты стал ужасно нервным.

— Наверно, слишком много курю.

— у тебя такой вид, словно и ты не знаешь куда себя деть в этом доме. Куришь немного больше обычного каждое утро, выпиваешь немного больше обычного по вечерам, и принимаешь на ночь снотворного больше обычного. Ты тоже начинаешь чувствовать себя ненужным.

— Я?.. — он молчал, пытаясь заглянуть в собственную душу и понять, что там происходит.

— О, Джорджи! — Она поглядела мимо него на дверь детской комнаты. — Эти львы... Они ведь не могут выйти оттуда?

Он тоже посмотрел на дверь — она вздрогнула, словно от удара изнутри.

— Разумеется, нет, — ответил он.

Они ужинали одни. Венди и Питер отправились на специальный стереокарнавал на другом конце города и сообщили домой по видеофону, что вернуться поздно, не надо их ждать. Озабоченный Джордж Хедли смотрел, как стол-автомат исторгает из своих механических недр горячие блюда.

— Мы забыли кетчуп, — сказал он.

— Простите, — произнес тонкий голосок изнутри стола и появился кетчуп.

«Детская... — подумал Джордж Хедли. — Что ж, детям и впрямь невредно некоторое время пожить без нее. Во всем нужна мера. А они, это совершенно ясно, слишком уж увлекаются Африкой». Это солнц е... Он до сих пор чувствовал на шее его лучи — словно прикосновение горячей лапы. А эти львы. И запах крови. удивительно, как точно детская улавливает

телепатическую эманацию психики детей и воплощает любое их пожелание. Стоит им подумать о львах — пожалуйста, вот они. Представят себе зебр — вот зебры. И солнце. И жирафы. И смерть.

Вот именно. Он механически жевал пищу, которую ему приготовил стол. Мысли о смерти. Венди и Питер слишком молоды для таких мыслей. А впрочем, разве дело в возрасте. Задолго то того, как ты понял, что такое смерть, ты уже желаешь смерти кому-нибудь. В два года ты стреляешь в людей из пугача...

Но это... Жаркий безбрежный африканский вельд... ужасная смерть в когтях льва. Снова и снова смерть.

— Ты куда?

Он не ответил ей. Поглощенный своими мыслями, он шел, провожаемый волной света, к детской. Он приложил ухо к двери. Оттуда донесся львиный рык.

Он отпер дверь и распахнул ее. В тот же миг его слуха коснулся далекий крик. Снова рычанье львов... Тишина.

Он вошел в Африку. Сколько раз за последний год он, открыв дверь, встречал Алису в Стране Чудес или Фальшивую Черепаху, или Алладина с его волшебной лампой, или Джека-Тыквенную-Голову из Страны Оз, или доктора Дулитла, или корову, которая прыгала через луну, очень похожую на настоящую, — всех этих чудесных обитателей воображаемого мира. Сколько раз видел он летящего в небе пегаса, или розовые фонтаны фейерверка, или слышал ангельское пение. А теперь перед ним — желтая, раскаленная Африка, огромная печь, которая пышет убийством. Может быть Лидия права. Может, надо и впрямь на время расстаться с фантазией, которая стала чересчур реальной для десятилетних детей. Разумеется, очень полезно упражнять воображение человека. Но если пылкая детская фантазия увлекается каким-то одним мотивом?.. Кажется, весь последний месяц он слышал львиный рык. Чувствовал даже у себя в кабинете резкий запах хищников, да по занятости не обращал внимания...

Джордж Хедли стоял один в степях. Африки Львы, оторвавшись от своей трапезы, смотрели на пего. Полная иллюзия настоящих зверей — если бы не открытая дверь, через которую он видел в дальнем конце темного коридора, будто портрет в рамке, рассеянно ужинавшую жену.

— Уходите, — сказал он львам.

Они не послушались.

Он отлично знал устройство комнаты. Достаточно послать мысленный приказ, и он будет исполнен.

— Пусть появится Аладдин с его лампой, — рывкнул он. По-прежнему вельд, и все те же львы...

— Ну, комната, действуй! Мне нужен Аладдин.

Никакого впечатления. Львы что-то грызли, трясая косматыми гривами.

— Аладдин!

Он вернулся в столовую.

— Проклятая комната, — сказал он, — поломалась, не слушается.

— Или...

— Или что?

— Или НЕ МОЖЕТ послушаться, — ответила Лидия. — Потому что дети уже столько дней думают про Африку, львов и убийства, что комната застряла на одной комбинации.

— Возможно.

— Или же Питер заставил ее застрять.

— ЗАСТАВИЛ?

— Открыл механизм и что-нибудь подстроил.

— Питер не разбирается в механизме.

— Для десятилетнего парня он совсем не глуп. Коэффициент его интеллекта...

— И все-таки...

— Хелло, мам! Хелло, пап!

Супруги Хедли обернулись. Венди и Питер вошли в прихожую: щеки — мятный леденец, глаза — ярко-голубые шарики, от джемперов так и веет озоном, в котором они купались, летя на вертолете.

— Вы как раз успели к ужину, — сказали родители вместе.

— Мы наелись земляничного мороженого и сосисок, — ответили дети, отмахиваясь руками. — Но мы посидим с вами за столом.

— Вот-вот, подойдите-ка сюда, расскажите про детскую, — позвал их Джордж Хедли.

Брат и сестра удивленно посмотрели на него, потом друг на друга.

— Детскую?

— Про Африку и все прочее, — продолжал отец с наигранным добродушием.

— Не понимаю, — сказал Питер.

— Ваша мать и я только что совершили путешествие по Африке: Том Свифт и его Электрический Лев, — усмехнулся Джордж Хедли.

— Никакой Африки в детской нет, — невинным голосом возразил Питер.

— Брось, Питер, мы-то знаем.

— Я не помню никакой Африки. — Питер повернулся к Венди. — А ты?

— Нет.

— А ну, сбегай, проверь и скажи нам.

Она повиновалась брату.

— Венди, вернись! — позвал Джордж Хедли, но она уже ушла. Свет провожал ее, словно рой светлячков. Он слишком поздно сообразил, что забыл запереть детскую.

— Венди посмотрит и расскажет нам, — сказал Питер.

— Что мне рассказывать, когда я сам видел.

— Я уверен, отец, ты ошибся.

— Я не ошибся, пойдём-ка.

Но Венди уже вернулась.

— Никакой Африки нет, — доложила она, запыхавшись.

— Сейчас проверим, — ответил Джордж Хедли.

Они вместе пошли по коридору и открыли дверь в детскую.

Чудесный зеленый лес, чудесная река, пурпурная гора, ласкающее слух пение, а в листве — очаровательная таинственная Рима, на длинных распущенных волосах которой, словно ожившие цветы, трепетали многоцветные бабочки. Ни африканского вельда, ни львов. Только Рима, поющая так восхитительно, что невольно на глазах выступают слезы.

Джордж Хедли внимательно осмотрел новую картину.

— Ступайте спать, — велел он детям.

Они открыли рты.

— Вы слышали?

Они отправились в пневматический отсек и взлетели, словно сухие листья, вверх по шахте в свои спальни.

Джордж Хедли пересек звенящую птичьими голосами полянку и что-то подобрал в углу, поблизости от того места, где стояли львы. Потом медленно возвратился к жене.

— Что это у тебя в руке?

— Мой старый бумажник, — ответил он и протянул его ей.

От бумажника пахло жухлой травой и львами. На нем были капли слюны, и следы зубов, и с обеих сторон пятна крови.

Он затворил дверь детской и надежно ее запер.

В полночь Джордж все еще не спал, и он знал, что жена тоже не спит.

— Так ты думаешь, Венди ее переключила? — спросила она наконец в темноте.

— Конечно.

— Превратила вельд в лес и на место львов вызвала Риму?

— Да.

— Но зачем?

— Не знаю. Но пока я не выясню, комната будет заперта.

— Как туда попал твой бумажник?

— Не знаю, — ответил он, — ничего не знаю, только одно: я уже жалею, что мы купили детям эту комнату. И без того они нервные, а тут еще такая комната...

— Ее назначение в том и состоит, чтобы помочь им избавиться от своих неврозов.

— Ой, так ли это... — он посмотрел на потолок.

— Мы давали детям все, что они просили. А в награду что получаем — непослушание, секреты от родителей...

— Кто это сказал: «Дети — ковер, иногда на них надо наступать»... Мы ни разу не поднимали на них руку. Скажем честно — они стали несносны. Уходят и приходят, когда им вздумается, с нами обращаются так, словно мы — их отпрыски. Мы их портим, они нас.

— Они переменились с тех самых пор — помнишь, месяца два-три назад, — когда ты запретил им лететь на ракете в Нью-Йорк.

— Я им объяснил, что они еще малы для такого путешествия.

— Объяснил, а я вижу, как они с того дня стали хуже к нам относиться.

— Я вот что сделаю: завтра приглашу Дэвида Макклина и попрошу взглянуть на эту Африку.

— Но ведь Африки нет, теперь там сказочная страна и Рима.

— Сдается мне, к тому времени снова будет Африка.

Мгновением позже он услышал крики.

Один... другой... Двое кричали внизу. Затем — рычание львов.

— Венди и Питер не спят, — сказала ему жена.

Он слушал с колотящимся сердцем.

— Да, — отозвался он. — Они проникли в детскую комнату.

— Эти крики... они мне что-то напоминают.

— В самом деле?

— Да, мне страшно.

И как ни трудились кровати, они еще целый час не могли укачать супругов Хедли. В ночном воздухе пахло кошками.

— Отец, — сказал Питер.

— Да?

Питер разглядывал носки своих ботинок. Он давно избегал смотреть на отца, да и на мать тоже.

— Ты что же, навсегда запер детскую?

— Это зависит...

— От чего? — резко спросил Питер.

— От тебя и твоей сестры. Если вы не будете чересчур увлекаться этой Африкой, станете ее чередовать... скажем, со Швецией, или Данией, или Китаем.

— Я думал, мы можем играть во что хотим.

— Безусловно, в пределах разумного.

— А чем плоха Африка, отец?

— Так ты все-таки признаешь, что вызывал Африку!

— Я не хочу, чтобы запирали детскую, — холодно произнес Питер. — Никогда.

— Так позволь сообщить тебе, что мы вообще собираемся на месяц оставить этот дом. Попробуем жить по золотому принципу: «Каждый делает все сам».

— Ужасно! Значит, я должен сам шнуровать ботинки, без автоматического шнуровальщика? Сам чистить зубы, причесываться, мыться?

— Тебе не кажется, что это будет даже приятно для разнообразия?

— Это будет отвратительно. Мне было совсем не приятно, когда ты убрал автоматического художника.

— Мне хотелось, чтобы ты научился рисовать, сынок.

— Зачем? Достаточно смотреть, слушать и обонять! Других стоящих занятий нет.

— Хорошо, ступай, играй в Африке.

— Так вы решили скоро выключить наш дом?

— Мы об этом подумывали.
— Советую тебе подумать еще раз, отец.
— — Но-но, сынок, без угроз!
— Отлично. — И Питер отправился в детскую.

— Я не опоздал? — спросил Девид Макклин.
— Завтрак? — предложил Джордж Хедли.
— Спасибо, я уже. Ну, так в чем дело?
— Девид, ты разбираешься в психике?
— Как будто.

— Так вот, проверь, пожалуйста, нашу детскую. Год назад ты в нее заходил — тогда заметил что-нибудь особенное?

— Вроде нет. Обычные проявления агрессии, тут и там налет паранойи, присущей детям, которые считают, что родители их постоянно преследуют. Но ничего, абсолютно ничего серьезного.

Они вышли в коридор.

— Я запер детскую, — объяснил отец семейства, — а ночью дети все равно проникли в нее. Я не стал вмешиваться, чтобы ты мог посмотреть на их затеи.

Из детской доносились ужасные крики.

— Вот-вот, — сказал Джордж Хедли. — Интересно, что ты скажешь?

Они вошли без стука.

Крики смолкли, львы что-то пожирали.

— Ну-ка. дети, ступайте в сад, — распорядился Джордж Хедли — Нет-нет, не меняйте ничего, оставьте стены, как есть. Марш!

Оставшись вдвоем, мужчины внимательно посмотрели на львов, которые сгрудились поодаль, жадно уничтожая свою добычу.

— Хотел бы я знать, что это, — сказал Джордж Хедли. — Иногда мне кажется, что я вижу... Как думаешь, если принести сильный бинокль...

Девид Макклин сухо усмехнулся.

— Вряд ли...

Он повернулся, разглядывая одну за другой все четыре стены.

— Давно это продолжается?

— Чуть больше месяца.

— Да, ощущение неприятное.

— Мне нужны факты, а не чувства.

— Дружище Джордж, найди мне психиатра, который наблюдал бы хоть один факт. Он слышит то, что ему сообщают об ощущениях, то есть нечто весьма неопределенное. Итак, я повторяю: это производит гнетущее впечатление. Положись на мой инстинкт и мое предчувствие. Я всегда чувствую, когда назревает беда. Тут кроется что-то очень скверное. Советую вам совсем выключить эту проклятую комнату и минимум год ежедневно приводить ко мне ваших детей на процедуры.

— Неужели до этого дошло?

— Боюсь, да. Первоначально эти детские были задуманы, в частности, для того, чтобы мы, врачи, без обследования могли по картинам на стенах изучать психологию ребенка и исправлять ее. Но в данном случае детская, вместо того чтобы избавлять от разрушительных наклонностей, поощряет их!

— Ты это и раньше чувствовал?

— Я чувствовал только, что вы больше других балуете своих детей. А теперь закрутили гайку. Что произошло?

— Я не пустил их в Нью-Йорк.

— Еще?

— Убрал из дома несколько автоматов, а месяц назад пригрозил запереть детскую, если они не будут делать уроков. И действительно запер на несколько дней, чтобы знали, что я не шучу.

— Ага!

— Тебе это что-нибудь говорит?

— Все. На место рождественского деда пришел бука. Дети предпочитают рождественского деда. Ребенок не может жить без привязанностей. Вы с женой позволили этой комнате, этому дому занять ваше место в их сердцах. Детская комната стала для них матерью и отцом, оказалась в их жизни куда важнее подлинных родителей. Теперь вы хотите ее запереть. Не удивительно, что здесь появилась ненависть. Вот — даже небо излучает ее. И солнце. Джордж, вам надо переменить образ жизни. Как и для многих других — слишком многих, — для вас главным стал комфорт. Да если завтра на кухне что-нибудь поломается, вы же с голоду помрете. Не сумеете сами яйца разбить! И все-таки советую выключить все. Начните новую жизнь. На это понадобится время. Ничего, за год мы из дурных детей сделаем хороших, вот увидишь.

— А не будет ли это слишком резким шоком для ребят — вдруг запереть навсегда детскую?

— Я не хочу, чтобы зашло еще дальше, понимаешь?

Львы кончили свой кровавый пир.

Львы стояли на опушке, глядя на обоих мужчин.

— Теперь я чувствую себя преследуемым, — произнес Макклин. — Уйдем. Никогда не любил эти проклятые комнаты. Они мне действуют на нервы.

— А львы — совсем как настоящие, верно? — сказал Джордж Хедли. — Ты не допускаешь возможности...

— Что?!

— ...что они могут стать настоящими?

— По-моему, нет.

— Какой-нибудь порок в конструкции, переключение в схеме или еще что-нибудь?

— Нет.

Они пошли к двери.

— Мне кажется, комнате не захочется, чтобы ее выключали, — сказал Джордж Хедли.

— Никому не хочется умирать, даже комнате.

— Интересно: она ненавидит меня за мое решение?

— Здесь все пропитано паранойей, — ответил Дэвид Макклин. — До осязаемости. Эй! — Он нагнулся и поднял окровавленный шарф. — Твой?

— Нет. — Лицо Джорджа окаменело. — Это Лидии.

Они вместе пошли к распределительному щитку и повернули выключатель, убивающий детскую комнату.

Дети были в истерике. Они кричали, прыгали, швыряли вещи. Они вопили, рыдали, бранились, метались по комнатам.

— Вы не смеете так поступать с детской комнатой, не смеете!

— Угмонитесь, дети.

Они в слезах бросились на диван.

— Джордж, — сказала Лидия Хедли, — включи детскую на несколько минут. Нельзя так вдруг.

— Нет.

— Это слишком жестоко.

— Лидия, комната выключена и останется выключенной. И вообще, пора кончать с этим проклятым домом. Чем больше я смотрю на все это безобразие, тем мне противнее. И так мы чересчур долго созерцали свой механический электронный пуп. Видит бог, нам необходимо сменить обстановку!

И он стал ходить из комнаты в комнату, выключая говорящие часы, плиты, отопление, чистильщиков обуви, механические губки, мочалки, полотенца, массажистов и все прочие автоматы, которые попадались под руку.

Казалось, дом полон мертвецов. Будто они очутились на кладбище механизмов. Тишина. Смолкло жужжание скрытой энергии машин, готовых вступить в действие при первом же нажиме на кнопки.

— Не позволяй им это делать! — завопил Питер, подняв лицо к потолку, словно обращаясь к дому, к детской комнате — Не позволяй отцу убивать все. — Он повернулся к отцу. — До чего же я тебя ненавижу!

— Оскорблениями ты ничего не достигнешь.

— Хоть бы ты умер!

— Мы долго были мертвыми. Теперь начнем жить по-настоящему. Мы привыкли быть предметом забот всевозможных автоматов — отныне мы будем жить.

Венди по-прежнему плакала. Питер опять присоединился к ней.

— Ну, еще немножечко, на минуточку, только на минуточку! — кричали они.

— Джордж, — сказала ему жена, — это им не повредит.

— Ладно, ладно, пусть только замолчат. На одну минуту, учтите, потом выключу совсем.

— Папочка, папочка, папочка! — запели дети, улыбаясь сквозь слезы.

— А потом — каникулы. Через полчаса вернется Дэвид Макклин, он поможет нам собраться и проведет на аэродром. Я пошел одеваться. Включи детскую на одну минуту, Лидия, слышишь — не больше одной минуты.

Дети вместе с матерью, весело болтая, поспешили в детскую, а Джордж, взлетев наверх по воздушной шахте, стал одеваться. Через минуту появилась Лидия.

— Я буду рада, когда мы покинем этот дом, — вздохнула она.

— Ты оставила их в детской?

— Мне тоже надо одеться. О, эта ужасная Африка. И что они в ней видят?

— Ничего, через пять минут мы будем на пути в Айову. Господи, какая сила загнала нас в этот домр.. Что нас побудило купить этот кошмар!

— Гордыня, деньги, глупость.

— Пожалуй, лучше спуститься, пока ребята опять не увлеклись своим чертовым зверинцем.

В этот самый миг они услышали голоса обоих детей.

— Папа, мама, скорей, сюда, скорей!

Они спустились по шахте вниз и ринулись бегом по коридору. Детей нигде не было видно.

— Венди! Питер!

Они ворвались в детскую. В пустынном вельде — никого, ни души, если не считать львов, глядящих на и их.

— Питер! Венди!

Дверь захлопнулась.

Джордж и Лидия Хедли метнулись к выходу.

— Откройте дверь! — закричал Джордж Хедли, дергая ручку. — Зачем вы ее заперли? Питер! — Он заколотил в дверь кулаками. — Открой!

За дверью послышался голос Питера:

— Не позволяй им выключать детскую комнату и весь дом.

Мистер и миссис Джордж Хедли стучали в дверь.

— Что за глупые шутки, дети! Нам пора ехать. Сейчас придет мистер Макклин и...

И тут они услышали...

Львы с трех сторон в желтой траве вельда, шуршание сухих стеблей под их лапами, рокот в их глотках.

Львы.

Мистер Хедли посмотрел на жену, потом они вместе повернулись лицом к хищникам, которые медленно, припадая к земле, подбирались к ним.

Мистер и миссис Хедли закричали.

И вдруг они поняли, почему крики, которые они слышали раньше, казались им такими знакомыми.

— Вот и я, — сказал Девид Макклин, стоя на пороге детской комнаты. — О, привет!

Он удивленно воззрился на двоих детей, которые сидели на поляне, уписывая ленч. Позади них был водоем и желтый вельд; над головами — жаркое солнце. У него выступил пот на лбу.

— А где отец и мать?

Дети обернулись к нему с улыбкой.

— Они сейчас придут.

— Хорошо, уже пора ехать.

Мистер Макклин заметил вдали львов — они из-за чего-то дрались между собой, потом успокоились и легли с добычей в тени деревьев.

Заслонив глаза от солнца ладонью, он присмотрелся внимательнее.

Львы кончили есть и один за другим пошли на водопой.

Какая-то тень скользнула по разгоряченному лицу мистера Макклина. Много теней. С ослепительного неба спускались стервятники.

— Чашечку чаю? — прозвучал в тишине голос Венди.

Нина Дашевская

Дом над морем

Дом стоял высоко над морем. Спinoй прилепился к скале, как ласточкино гнездо; а окнами смотрел на море. Море, море, до самого горизонта. Такое спокойное там, вдалеке. А здесь, внизу, оно сердито набрасывалось на скалы, кипело, будто злилось на всех. И особенно на этот маленький домик, забравшийся так высоко. Совсем рядом, в трёх километрах вниз по старой дороге есть город. Там, на пляже, море бывает спокойным, как горное озеро. А здесь, под скалой, всегда злится.

У открытого окна старик варил кофе в большой железной кружке. Мальчик стоял рядом и смотрел, как поднимается пена, и как старик разливает кофе по глиняным чашкам. Чашки когда-то подарил старику взрослый уже внук, сказал — вот, дед, будешь гостей угощать. Старик тогда удивился — какие у него могут быть гости. Но вот, приехали. Старик взял две чашки, кивнул на третью:

— Неси на веранду.

Мальчик не понял слов, но догадался. Понёс осторожно, жгло пальцы, но старался не показать. Надо же, какие нежные у него руки, как у девочки. Что в голове — не поймешь. Не выпускает из рук модную игрушку, телефон. Фотографирует, щёлкает кнопками — куда ему столько фотографий? Старик сначала пытался развлечь его, расшевелить. Показал коробку с инструментами. Мальчик вежливо посмотрел и отложил — не умеет, не интересно. Старик снял со стены ружьё. Мальчик кивнул, но даже не взял в руки. А старик многое бы отдал в его возрасте, чтобы подержать такое!

Станный, странный мальчик, другой. Говорит на чужом языке. Светлые, совсем белые волосы, серые глаза — никогда в семье не было таких. А ведь сын Анны, внучки. Выходит, правнук. Анна и сама родилась в другой стране, а потом уехала ещё дальше, на самый край света. Старик и не знал раньше, что есть такая земля. Там и родился мальчик. Чужой язык, чужое, непонятное имя. И только если написать его — становится видно, что мальчика назвали в честь него, прадеда. Пишется похоже. Видеть видно, а слышать не слышно, такие странные эти буквы. Латинские, такие же, как на

крышке старого пианино. Да, немецкое пианино, вон стоит в углу, как инопланетянин.

Старик вспомнил, как инструмент везли сюда на грузовике, по дикой горной дороге. Сразу после войны. Потом дочь училась, играла. Но она уехала, давно, давно, и пианино молчит. Тихо в доме, только море шумит днем и ночью, злится на кого-то.

— Что ты не пьешь? — тихонько спросила Анна. Почему-то она стеснялась здесь говорить громко.

— Я пью, — ответил мальчик, — просто горячий.

Он никогда не любил вкус кофе, но неловко было отказаться. К тому же, ему нравится запах. Здесь, в горах, он смешивается с горьким ароматом диких трав и солёным ветром. Совсем не то, что в городе, среди пыльного асфальта и шума машин. Тут запах кофе был чем-то естественным. Так же, как силуэт старого монастыря не нарушал линии гор. Мальчик отхлебнул из чашки и сморщился — обжёгся, не привык к такому.

Старик смотрел на море, а думал о мальчике. Чем он живет, что в его голове?

Вдруг правнук заговорил, быстро, непонятно.

— Он спрашивает, — перевела Анна, — оно здесь всегда такое? Море. Злится как будто.

Старик кивнул. Да, это странно, что здесь так. Кажется, когда-то раньше... Раньше, очень давно, море было другим. А может, другим был сам старик. Он не помнит, забыл.

Утром Анна с мальчиком спускалась вниз, в город. Там можно подойти к воде, искупаться, или просто ходить босиком по самому краешку моря. Старик не пошёл с ними, он терпеть не может этой пляжной суеты. Спускается в город только ближе к зиме, когда закончится сезон.

— Там море тихое. А здесь нет, — повторил мальчик. — Почему?

— Есть легенда, — ответил старик. — Раньше море любило поговорить. Но сейчас все забыли его язык, никто не понимает. Только старые камни там, на горе, — старик кивнул головой на монастырь. — Им тысяча лет, они помнят. Но молчат, не отвечают. И море тоскует. Тоскует и злится, пытается докричаться до них, рассказать. Ну, это сказка, — добавляет он вдруг смущённо.

— Красивая сказка, — сказала Анна. Она тихонько переводит легенду мальчику, и он сосредоточенно кивает головой.

Солнце склоняется к горизонту.

Мальчик выложил из кармана камешки, расставил на перилах веранды и щёлкает по одному. Вниз, в море. Камень летит в заросли, не видно, долетает он до воды, или нет. Но может быть да. Закат в полнеба, горит огнем.

Анна вдруг спрашивает у деда:

— А пианино? Кажется, у тебя было пианино. Оно сохранилось?

— Куда ж ему деваться, — пожимает плечами старик. — Не живое же, не сбежит.

— Знаешь, а ведь Джордж играет. Хорошо играет, его учитель говорит — он очень способный. Можно, попробует?

— Так расстроенное же, совсем. Сорок лет никто не открывал. Хотя, если он хочет, что ж... Пусть поиграет.

Старик, не дожидаясь, пока Анна переведет его слова, берёт мальчика за руку, уводит в дом. Вот оно, пианино. Чёрное, большое. Старик уже привык не замечать его. Стоит и стоит.

Джордж открыл крышку, нажал клавишу. Пианино отозвалось хрипло, одна нота расщепилась на два голоса. Он не смутился, пробежал легкими пальцами по клавиатуре. Конечно, ужасно расстроено, но все струны целы. И даже угадывается какой-то звукоряд, похоже на гамму. Удивительно, в таком климате, на море... Немецкая механика, отличная работа.

Старику вдруг стало обидно. Ведь это его пианино. А играть он не умеет. Два инопланетянина, пианино и мальчик. Говорят на одном языке, которого он, старик, не понимает.

Джордж, наконец, перестал проверять, какие клавиши звучат звонче, а какие глуше; какие расстроены так, что не похожи сами на себя, а какие еще держатся. И он заиграл. По-настоящему.

Вот, оказывается, что он умеет, этот Джордж.

А потом что-то произошло. Старик сначала не понял, что не так. Ему показалось, что он оглох. И тут Анна сказала:

— Смотри-ка. Море стихло.

Старик не сразу понял смысл её слов. Да, точно — привычный гул, который был у него в ушах всю жизнь, утих. Море плескалось тихонько, как ручеек в самом начале пути.

— Поиграй еще, Георгий, — попросил старик. Сам не понял, почему назвал мальчика по-другому, своим именем. — Поиграй. Поговори с ним.

Внизу, в городе, по пустынному пляжу шли двое.

— Послушай, — сказала вдруг она. — Остановись и послушай. Будто пианино играет. Там, на горе. Слышишь?

— Что ты, — засмеялся он, — откуда здесь пианино! Это телевизор, или радио работает где-то. Тебе показалось.

— Нет, не радио... Пианино, живое, я слышу. И море какое тихое сегодня, смотри...

Тексты о языке

Михаил Зощенко
Обезьяний язык

Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда, какой трудный.

Главная причина в том, что иностранных слов в нём до чёрта. Ну, взять французскую речь. Всё хорошо и понятно. Кескёсе, мерси, комси — всё, обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова.

А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой — беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением.

От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы.

Я вот на днях слышал разговор. На собрании было. Соседи мои разговорились.

Очень умный и интеллигентный разговор был, но я, человек без высшего образования, понимал ихний разговор с трудом и хлопал ушами.

Началось дело с пустяков.

Мой сосед, не старый ещё мужчина, с бородой, наклонился к своему соседу слева и вежливо спросил:

— А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?

— Пленарное, — небрежно ответил сосед.

— Ишь ты, — удивился первый, — то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное.

— Да уж будьте покойны, — строго ответил второй. — Сегодня сильно пленарное и кворум такой подобрался — только держись.

— Да ну? — спросил сосед. — Неужели и кворум подобрался?

— Ей-богу, — сказал второй.

— И что же он, кворум-то этот?

— Да ничего, — ответил сосед, несколько растерявшись. — Подобрался, и всё тут.

— Скажи на милость, — с огорчением покачал головой первый сосед. — С чего бы это он, а?

Второй сосед развёл руками и строго посмотрел на собеседника, потом добавил с мягкой улыбкой:

— Вот вы, товарищ, небось, не одобряете эти пленарные заседания... А мне как-то они ближе. Всё как-то, знаете ли, выходит в них минимально по существу дня... Хотя я, прямо скажу, последнее время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее.

— Не всегда это, — возразил первый. — Если, конечно, посмотреть с точки зрения. Вступить, так сказать, на точку зрения и отсюда, с точки зрения, то да — индустрия конкретно.

— Конкретно фактически, — строго поправил второй.

— Пожалуй, — согласился собеседник. — Это я тоже допускаю. Конкретно фактически. Хотя как когда...

— Всегда, — коротко отрезал второй. — Всегда, уважаемый товарищ. Особенно, если после речей подсекция заварится минимально. Дискуссии и крику тогда не оберёшься...

На трибуну вошёл человек и махнул рукой. Всё смолкло. Только соседи мои, несколько разгорячённые спором, не сразу замолчали. Первый

сосед никак не мог помириться с тем, что подсекция заваривается минимально. Ему казалось, что подсекция заваривается несколько иначе.

На соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смолкли. Потом первый сосед снова наклонился ко второму и тихо спросил:

— Это кто ж там такой вышедши?

— Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина. И оратор первейший. Завсегда остро говорит по существу дня.

Оратор простёр руку вперёд и начал речь.

И когда он произносил надменные слова с иностранным, туманным значением, соседи мои сурово кивали головами. Причём второй сосед строго поглядывал на первого, желая показать, что он всё же был прав в только что законченном споре.

Трудно, товарищи, говорить по-русски!

Пленарное заседание

(от лат. plenum - полное)

Важнейшая форма деятельности органов представительной власти, когда парламент, его палаты или иной представительный орган собираются в полном составе, решения по наиболее важным вопросам, входящим в компетенцию данного представительного органа, таким, как избрание руководящих должностных лиц и органов, утверждение бюджета, делегирование полномочий и т.п. принимаются только на П.з.

Кворум (лат. *quorum praesentia sufficit* «которых присутствие достаточно») — установленное законом, уставом организации или регламентом число участников собрания (заседания), достаточное для признания данного собрания правомочным принимать решения по вопросам его повестки дня.

Перманентно

Постоянный, непрерывно продолжающийся. Перманентное развитие. | сущ. перманентность, -и, жен. Перманентный -ая, -ое; -тен, -тна. **Непрерывно продолжающийся, постоянный.** Перманентный процесс. Перманентное развитие. Перманентная революция. Родственные слова: перманентно, перманентность. Этимология: От французского permanent 'постоянный', 'непрерывный' (← лат. permanens, permanentis 'постоянный', 'неослабевающий').

Индустрия

промышленность, в особенности крупная.

Президиум

группа лиц, избранная для коллегиального ведения собрания, совещания; руководящий орган некоторых политических, общественных и других организаций.

Максим Анисимович Кронгауз (род. в 1958 г.) – советский и российский лингвист, профессор, доктор филологических наук, автор монографий, в том числе о состоянии современного русского языка. Фрагмент для чтения взят из книги М. Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва»

Максим Кронгауз. Русский язык на грани нервного срыва

Стилисты всегда боролись с так называемыми словами-паразитами, со всеми этими *так сказать, значит* (с просторечным вариантом *значить*), *естественно, вот* и прочими, которые ни для чего не нужны и только засоряют нашу речь. Их бесконечный повтор раздражает собеседников. В какой-то момент эти постоянные *значить-значить-значить* или *таксказать-таксказать-таксказать* заглушают все остальные слова и мешают воспринимать мысль. Однако многие без них не могут обходиться. Почему? О чем же говорят слова-паразиты?

Есть люди, которые даже во время монолога постоянно обращаются за поддержкой к собеседникам и делают это с помощью словечка *да* с вопросительной интонацией или вопросов-обращений типа *понимаете, знаете*. Эти вроде бы и паразиты в действительности очень нужны говорящему и выдают его особый психологический склад, потребность в постоянной коммуникативной поддержке и связи с собеседником.

Время от времени в русском языке появляются новые слова-паразиты. Например, раньше слово *типа* сочеталось только с родительным падежом существительного (*животное типа собаки*), а в новом употреблении слово *типа* стало стилистическим вариантом, незадолго до этого распространившегося обычного слова-паразита *как бы*. Как и другие паразиты, словечки *типа* и *как бы* восходят к совершенно нормальным русским словам, которые вдруг начинают употребляться в совершенно неуместных контекстах и ситуациях. В литературном языке эти два слова связаны с идеей сходства, подобия (но не совпадения). В своем «паразитическом» употреблении они от этой идеи отходят.

– Я как бы работаю, – говорит кто-то, действительно работающий в этот момент, а не имитирующий деятельность. Есть люди, у которых это *как бы* встречается в речи чуть ли не перед каждым словом: «Я как бы здесь работаю как бы продавщицей». Такое *как бы* характеризует речь человека в целом, его психологическое состояние и, возможно, даже социальный статус.

Как это ни парадоксально прозвучит, это слово стало очень своеобразным инструментом вежливости (или «как бы вежливости»). Оно

означает, что говорящий отказывается делать окончательные высказывания, а каждый раз заявляет о своей неуверенности, об отсутствии у него права делать самостоятельные утверждения. Так разговаривает подчиненный с начальником, заинтересованное лицо с влиятельным и т. п.

У слов-паразитов в силу их частотности появляется еще одно важное свойство. Чем чаще произносится слово, тем заметнее тенденция к его сокращению, сжатию. Таким образом мы экономим свои произносительные усилия. Хороший паразит – паразит односложный, отсюда и постоянное стяжение «лишних» слогов. Поэтому мы и говорим что-то вроде *тксать* вместо *так сказать*. Это стало отражаться в особой интернет-орфографии. Так появилось слово *ессно* (*естественно*, если кто не понял). Именно в интернете стали различать в написании слово-паразит и обычное нормативное *типа*. Слово-паразит часто записывается таким образом – *типо*: *Начинаем типо раздачу слонов*.

(По М. Кронгаузу)

Русский язык в интернете требует особого разговора. Начнем с самого простого – с яростной порчи орфографии. Возникла она не в интернете, но именно в интернете была поставлена на поток. И наиболее ярко проявилась в так называемом языке падонков и истории со словом *превед*. Порча орфографии оказалась настолько привлекательной идеей, что сразу овладела интернет-умами и стала модной и почти обязательной. Прежде чем как-то оценивать этот процесс, хорошо бы понять, зачем нам вообще нужна орфография.

Хорошо известно, что именно орфография помогает легче воспринимать написанное, то есть попросту – быстрее читать. Но орфография помогает и быстрее писать, поскольку грамотный человек делает это автоматически. И вот здесь прозвучало ключевое слово: грамотный. Дело в том, – и сейчас я раскрываю большой секрет, – что орфография облегчает жизнь далеко не всем, а только грамотным людям.

Вторая причина привлекательности неправильной орфографии заключается в том, что она придает слову дополнительную выразительность. Всевозможные выражения языка падонков – аццкий сотона, аффтар жжот и пеши исчо – безусловно, выразительны и потому так популярны. Кое-кто стал даже говорить о новой неправильной орфографии, то есть новой системе антиправил. На самом деле никакой особой системы нет. По существу, есть лишь одно основное правило: там, где можно написать слово иначе, чем оно пишется, и это не повлияет на его произнесение, – пиши иначе. Фактически это означает, что написание сотона является, как бы это сказать, – приемлемым, потому что везде, где ошибку сделать было можно, она сделана. При этом для слова еще возможны варианты: исчо, ищцо и т. п., один из которых, возможно, становится каноническим. Так, правильно

писать аффтaр с двумя ф, а не с одним, хотя оба варианта одинаково ошибочны.

Но здесь-то и кроется опасность. По-настоящему неправильно могут писать только очень грамотные люди, которые, во-первых, знают, как писать правильно, а во-вторых, понимают, какие ошибки не искажают произношение. Так, мне очень трудно поверить в то, что неграмотный человек мог бы написать «превед, кросавчег!» (лучше, впрочем, было бы кросафчег), потому что сделаны почти все возможные ошибки, причем каждый раз выбирается более неестественная с точки зрения произношения буква.

Выразительность же всех этих написаний весьма условна. Они выразительны, пока мы осознаем их необычность и неправильность. По мере привыкания к ним и забывания «правильного прототипа» они станут совершенно обычными, нейтральными написаниями, но правила орфографии при этом мы потеряем безвозвратно.

Меня поразила позиция одного безусловно грамотного и вполне образованного человека по этому поводу, сформулированная на одном из форумов: дайте мне самовыражаться в интернете так, как я хочу, а вот моих детей в школе, господа лингвисты, извольте учить правильному языку и правильной орфографии. Этот человек, увы, не понимает одной простой вещи: то, что для него является игрой, для следующего поколения постепенно превращается в норму. Язык осваивается не в школе и не под чутким руководством каких-то там лингвистов. Вполне возможно, что его сын впервые увидит слово аффтaр именно в интернете и именно в таком виде. И это окажется его первым и основным языковым опытом, который не перечеркнешь школьной зубрежкой. Учитывая распространение интернета, игры и изыски взрослых с большой вероятностью станут основной языковой средой для сегодняшних детей.

(По М. Кронгаузу)

Случай первый

На одном из семинаров мы беседуем со студентами, и один вполне воспитанный юноша в ответ на какой-то вопрос произносит: «Ну, это же, как ее, блин, интродукция». Он, конечно, не имеет при этом в виду обидеть окружающих и вообще не имеет в виду ничего дурного, но я вздрагиваю. Просто я не люблю слово блин. Естественно, только в его новом употреблении как междометие, когда оно используется в качестве замены сходного по звучанию матерного слова. Точно так же я вздрогнул, когда его произнес актер Евгений Миронов при вручении ему какой-то премии (кажется, за роль князя Мышкина). Объяснить свою неприязненную реакцию я, вообще говоря, не могу. Точнее, могу только сказать, что считаю это слово вульгарным (замечу, более вульгарным, чем соответствующее матерное слово), но подтвердить свое мнение мне нечем, в словарях его нет, грамматики его никак не комментируют. Но когда это слово публично

произносят воспитанные и интеллигентные люди, от неожиданности я все еще вздрагиваю.

Случай второй

После долгого отсутствия в России я бреду с дочерью по Даниловскому рынку в поисках мяса и натываюсь на броскую вывеску-плакат, этакую растяжку над прилавком: «Эксклюзивная баранина».

– Совсем с ума посходили, – громко и непедagogично говорю я.

– А что тебе, собственно, не нравится, папа? – удивляется моя взрослая дочь.

– Да нет, нет, – успокаиваю я то ли ее, то ли себя. – Так, померещилось.

Естественно, что позднее, увидев в объявлении о продаже машины фразу: «Машина находится в эксклюзивном виде», я уже не высказал никаких особенных эмоций. Сказался полученный языковой опыт.

Похожую эволюцию прошло и слово элитный. От элитных сортов пшеницы и элитных щенков мы пришли к следующему объявлению (из электронной рассылки): «Элитные семинары по умеренным ценам».

Если говорить совсем просто, то мне не нравится, что некоторые вполне известные мне слова так быстро меняют значения.

Я, в принципе, не против языковой свободы, она способствует творчеству и делает речь более выразительной. Мне не нравится языковой хаос (который вообще-то является ее обратной стороной), когда уже не понимаешь, игра это или безграмотность, выразительность или грубость.

(По М. Кронгаузу)

Эксклюзивный –

Само понятие "эксклюзив" означает (англ. exclusive — исключительный; единственный) — **исключительный, относящийся только к избранным категориям.** Это что-то такое, чего больше нет ни у кого (в единственном экземпляре). То есть, если Вам предлагают эксклюзивное путешествие, это значит, что такое путешествие доступно далеко не всем, а только некоторым. И цена на него, как правило, выше, равно как и качество.

Д.С. ЛИХАЧЕВ

О ЯЗЫКЕ УСТНОМ И ПИСЬМЕННОМ, СТАРОМ И НОВОМ

Текст приводится в сокращении по книге: Лихачев Д. «Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет», - Л.: Сов. писатель, 1989, с. 410-436.

Самая большая ценность народа - это язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Думает! Это надо понять досконально, во всей многозначности и многозначительности этого факта. Ведь это значит, что вся

сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения - только окрашивают то, что мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулируются языком.

Вернейший способ узнать человека - его умственное развитие, его моральный облик, его характер - прислушаться к тому, как он говорит.

Если мы замечаем манеру человека себя держать, его походку, его поведение и по ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык человека - гораздо более точный показатель его человеческих качеств, его культуры.

Итак, есть язык народа, как показатель его культуры, и язык отдельного человека, как показатель его личных качеств, качеств человека, который пользуется языком народа.

Я хочу писать не о русском языке вообще, а о том, как этим языком пользуется тот или иной человек.

О русском языке как о языке народа писалось много. Это один из совершеннейших языков мира, язык, развивавшийся в течение более тысячелетия, давший в XIX веке лучшую в мире литературу и поэзию. Тургенев говорил о русском языке -«...нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!».

А ведь бывает и так, что человек не говорит, а «плюется словами». Для каждого расхожего понятия у него не обычные слова, а жаргонные выражения. Когда такой человек с его словами-плевокми говорит, он выявляет свою циническую сущность.

И.С. Тургенев.

Стихотворение в прозе «Русский язык»

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,
— ты один мне поддержка и опора, о **великий, могучий, правдивый и свободный** русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

Июнь 1882г.

А. Кушнер «Во дни сомнений...»

Во дни сомнений (Я не понимал,
Каких ещё сомнений?). В дни раздумий
(Каких раздумий? Вставочка в пенал
Укладывалась вроде древних мумий,
Хотя ещё не кончился урок).
Ты мне один — опора и порука.
(Или подмога? Кто бы мне помог?
Стихотворенье в прозе, что за мука!
Как это можно выучить? Во дни?)
Во дни сомнений, тягостных раздумий
(Каких? Зачем? В таинственной тени

Тонула школа, в сумерках и шуме) —
Зато теперь понятно мне, каких.
Про чёрный день стихи, на крайний случай.
Язык и есть Россия. (Для других
Она в другом.) Свободный и могучий.
1983 г.

Анна Ахматова

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Ташкент

Год написания: 1942, 23 февраля

Человек и природа

Выполните целостный анализ рассказа Юрия Буйды «О реках, деревьях и звездах», приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации: смысл заглавия, начальной фразы текста, особенности создания образов, особенности развития сюжета, особенности пейзажа, развитие темы времени, роль бытовых деталей, разговоров героев / невозможности разговоров, роль финала, композиционные особенности текста, мотив понимания/непонимания, позиция автора и средства ее выражения, особенности стилизового оформления, соотношение лирического и бытового.

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст.

При оценке успешности выполнения задания учитывается владение основами анализа художественного текста, умение видеть художественное произведение как целостное единство элементов, несущее в себе особый смысл, оценивается композиционная стройность, язык и стиль вашей работы.

О реках, деревьях и звездах
Юрий Буйда

«Неба не видят только свиньи и змеи, — сказал Миша Лютовцев жене наутро после свадьбы. — А мы с тобой должны удержаться в людях».

Тоня испуганно кивнула, соглашаясь с мужем, который вообще-то был человеком нормальным, без отклонений.

Миша работал сушильщиком на бумажной фабрике, жена — медсестрой в фабричной больничке. Жили они в домике возле старого парка, в конце Семерки. При маленькой зарплате жители городка были вынуждены держать скотину, птицу, огород. Не были исключением и Лютовцевы, которые вскоре после свадьбы обзавелись двумя десятками кур, поросенком, коровой третьим отелом, десятком гусей, овцами и кроликами. Вставали и ложились затемно, чтобы управиться с хозяйством: подоить и выгнать в стадо корову, задать поросенку и овцам, нарезать свежей травы для кроликов... Летом надо было запастись сеном для коровы и овец. Когда родился сын, а следом еще один, молоко на сторону продавать перестали, но по-прежнему торговали кроличьим мясом — зверьки плодились без удержу. Тоня научилась выделывать кроличьи шкурки — из них соседка Граммофониха шила шапки и детские шубки, пусть и не очень казистые, зато теплые и дешевые.

Словом, жили Лютовцевы как все — трудно. Мало того, что с утра до вечера невозможно было спины разогнуть, так ведь еще и отпуск подгадывали под сенокос либо под осеннюю уборку.

Но при всем при том один час в день Миша и Тоня выделяли на реки, деревья и звезды.

«Всего час, — предложил Миша еще тогда, после свадьбы. — Шестьдесят минут».

Тоня опрометчиво согласилась, но уже через несколько месяцев пожалела об этом.

Каждый день они выбирались на час в парк, тянувшийся вдоль Преголи. Конечно, прогуляться вечерком после тяжелого дня — дело хорошее, — ну а если дома хозяйство и нужно к утру сварить кормежку поросенку, а если дома дети малые плачут, а если за день так наломаешься, что у телевизора можешь только лежать? «Сегодня-то могли бы и отложить, — как-то запротестовала Тоня, — у меня мозоль аж горит...» Но Миша так посмотрел на нее, что ей не оставалось ничего другого, как сунуть распухшие ноги в галоши и взять мужа под руку.

Они медленно шли через заброшенный парк, под высокими старыми деревьями. Полузаросшая дорожка выводила их на берег реки. Темнело. Загорались звезды. Через час Лютовцевы возвращались домой.

Миша решительно пресекал попытки жены обсуждать домашние дела во время таких вылазок: «Коли мы только ради всего этого выбрались, то об этом нужно и говорить». То есть о реках, деревьях и звездах. Но вот закавыка: оказываясь лицом к лицу с рекой, деревьями и звездным небом, они терялись, совершенно не находя слов для общего разговора. Ну, в самом деле, что можно сказать о реке? Течет себе в глинистых берегах, весной и осенью разливается, затапливая сенокосы в пойме, зимой тихонько урчит

подо льдом. Деревья шумят под ветром, сбрасывают листья, чтобы весной зацвести и осенью пожелтеть. А звезды — о них и вовсе нечего сказать, так они далеки от людей и непонятны. Конечно, бывает, что тихим и теплым осенним вечером, когда выйдешь на высокий берег и вдохнешь всей грудью пахнущий терпким листом воздух, и окинешь взором петляющую среди ивняков Преголю, и увидишь тлеющую пряжу Млечного Пути, и ощутишь вдруг на какой-то миг страстную и не вмещающуюся в одну душу любовь невесты к чему и к кому, — жизнь внезапно будто и сводится к этому единственному мгновению, — но выразить это словами? Какими? Не было таких слов ни у Миши, ни у Тони.

Озадаченный этим обстоятельством, Миша записался в фабричную библиотеку и набрал разных книжек о реках, деревьях и звездах, которые перед сном читал вслух, неодобрительно поглядывая на жену, которая хоть и боялась заснуть, но ничего с собой не могла поделать: сказывалась усталость. Однако мало-помалу они научились говорить об особенностях гидрологии Преголи, о коре и сердцевине деревьев, о величинах звезд и расстоянии до Бетельгейзе. И сведений, почерпнутых в книгах, было так много, что за час Миша и Тоня не успевали обо всем переговорить. Да и слова были все новые, ученые, никак не ложившиеся под язык.

Впрочем, постепенно, с годами, Лютовцевы забросили чтение книг, однажды сообразив, что можно изучить геологию речного русла, проникнуть в тайну цветения каштана и узнать химический состав голубых звезд-гигантов, но главное, человеческое — по-прежнему останется неуловимым, влекущим и невыразимым: течение, рост, свет и горение — вечность текучая, устрашающе живая и по-человечески изменчивая. Перед нею тысячи книг значат ничуть не больше, чем слово «река», слово «дерево» или слово «звезда», но и эти слова ничего не значат перед рекой, деревом или звездой.

Однако и эти горькие открытия не изменили привычку Миши и Тони каждый день уделять час рекам, деревьям и звездам. Да, наверное, тут все дело именно в привычке, приобретенной за долгие годы. Однажды Тоня призналась, что наверняка почувствует себя не в своей тарелке, если они вечерком с Мишей не выйдут в парк.

Соседи беззлобно подшучивали над Лютовцевыми, хотя, впрочем, не считали их чокнутыми: гуляют себе люди — и пусть гуляют.

Мне же кажется, что если Бог все-таки существует и однажды труба архангела созовет мертвых и живых в Иосафатскую долину на Страшный Суд, и Судья спросит, чем оправдана жизнь человеческая, и сушильщик с бумажной фабрики Миша Лютовцев и его жена медсестра Тоня ответят, что каждый день они пытались говорить о реках, деревьях и звездах, — Господь удовлетворится их жизнью, а возможно, даже назовет ее счастливой — невзирая на Тонины мозоли, Мишин гастрит и все неурожайные на картошку годы...

Юлия Говорова

ПИСЬМО К ЧИТАТЕЛЮ

Я – ученик. Но не школы и класса, а в жизни, по жизни я ученик. И даже не второгодник, а многолетник. Много-много лет я учусь. И совсем не стесняюсь этого, а наоборот – горжусь. Ученик Марины Москвиной – это ведь звучит гордо.

И я, конечно, немного гонюсь за пятёркой, хочу вам понравиться. Но дело всё же не в этом. Ученик – это путник. Как говорит другой мой учитель – поэт Овсей Дриз: «Мы путники на рассвете». Ты идёшь – и уже не важно, в ботинках ты, босиком, главное – в самом шаге.

Мои шаги перед вами, и я продолжаю путь.

ЖДУ

Я с той весны берегу черёмуху – до этой.

Зверобой и тысячелистник зимой завариваю, а черёмуховый цвет храню.

Только первого марта его достану, залью кипятком, он задышит, расправит листья, за окном метель, дворники устали от снега, а у меня черёмуха горячая, и та весна переходит в эту.

Я готовлюсь: достаю из шкафа пальто, весеннее, легкое, чтобы выйти нараспашку на тёплые улицы, и клейкие стручки тополей прилипают к ботинкам.

Я жду весны, ветра, ветрениц, когда мой друг, он живет в деревне, напишет: «Зайцы полиняли, растаяла волчья тропа».

АНТОНОВСКИЕ РУКАВИЦЫ

От яблок некуда деться. Яблоки окружили нас. Мы в плену у яблок. Яблоки всюду: на подоконниках, на крылечках, на садовых столиках, в лодках.

По яблокам ходим, яблоками хрустим, яблоки лопаем что есть силы: антоновку, кувшинку, медовый ранет.

Яблоки печем, мочим и сушим. Федор Иванович, муж тети Нины, придумал добавлять сушёное яблочко в табачок – для аромата.

Наконец, яблоки, как убежавшее, льющее через край варенье, выставили на улицу. Полные ведра яблок, крупных, как клубки шерсти, жёлтой и красной. Издалека посмотришь за разговором на лавочке, за взмахами рук, и, кажется, что бабушки вяжут, без перерыва вяжут какие-то неведомые сладкие антоновские рукавицы.

ПЕРВОКЛАСНИЦЫ

Из кустов боярышника и шиповника выглядывают калитки.

На них, как у школьников за спиной, висят ранцы – деревенские почтовые ящики.

Ранцы охраняют дворняги: Рыжики, Тузики. Громким, отчаянным лаем предупреждают хозяев, когда идет почтальон.

Заглянешь внутрь: ни тетрадок, ни писем, только, может, газета, а то и вовсе нет ничего.

Но бабушки ждут, проверяют свои портфели, выходят к калиткам, юные и нарядные, как первоклассницы. Особенно осенью, когда покраснеет рябина, пожелтеет кленовый лист.

ТРЕТИЙ ВЕНЧИК

Тётя Маша говорит: огурцы надо сажать, когда зацветёт третий венчик у калины.

Вот он и зацвёл, в деревне Коты, мы видели.

Коты – старая деревня, в ней никто не живет, но каждую весну все в Котах расцветает: черемуха, ирга, калина.

Сирень раскололась, – значит, будут петь соловьи.

– Соловей поет, пока соловыха сидит на гнезде, – уточняет для меня тётя Маша.

Весной она в синем полупальто и вязаной шапочке распределяет по огороду овощи, как полководец Кутузов войска: на флангах – огурчики, на переднем крае – картошка, в тылу – капуста и кабачки... Семена, как новобранцы, в мисочке отобраны, укрыты мхом.

У меня ладонь как ладонь, обычная, рядовая. А у тёти Маши не просто ладонь – пясточка, в ней особая сила, чего ни коснётся – всё прорастает.

Торкнул семечки в землю – надо через грядку поцеловаться, чтобы огурцы были сладкие.

Пока мал огурец, он капельный, то есть маленький. Капельный поросёнок, капельный огурец. Вырастет – станет добрым. А добрый огурец можно и посолить. Но это ещё не скоро, осенью. Все лето ждать.

ЯБЛОЧНЫЙ ВЕТЕР

Ветра не было, а яблоки падали, срывались, сбивались с насиженных мест, шлёпали, как бобы хвостами, по днищам перевёрнутых лодок.

Как будто деревья встряхнулись от осенних дождей, и яблоки разметало, как брызги.

Нам всем казалось, что ни ветерка, а ветер гулял в садах, невидимый и не слышный, яблочный ветер, его время пришло.

Яблоки раскалывались на лету и пропитывали яблочным соком землю.

Из этюда «Весенние встречи и картины»

Бабочка. На пути к рождению

Вышла гулять по снегу – жесткий наст. Хорошо идти, не проваливаешься, и снег такими крупиночками блестит.

Качается пижма на ветру, сухие и ломкие веточки полыни. Кустики торчат из-под снега, и солнце их освещает, всё блестит.

Ветерок травинки качает, я иду и так иногда-иногда, случайно совсем, ненароком смотрю себе под ноги.

И какой же попался мне попутчик? Это гусеница!

Маленькая, вся опушённая волосками, она тихо ползла по снегу: шаг, шаг, шаг. И бескрайняя кругом одна снежная равнина.

«Бабочка. На пути к рождению» я назвала эту фотку.

И я подумала, когда мы расстались на пути: «Встретимся, когда станешь бабочкой?»

И дальше каждый пошёл своей дорогой.

Мартовское молоко

Тихо и пусто в деревне перед закатом. Нагретые солнцем крылечки беззвучны, калитки открыты, заходи – не хочу... Что такое случилось?

Как перед началом парада, опоздавший белый платочек – наверняка тетя Надя – мелькнул за углом, торопясь поскорее занять на камнях-валунах свое место.

Коровы идут! Врассыпную, как армия, идут, бегут, покачивая боками.

– Не рычи, не рычи, – успокаивает слишком ретивых Павля-пастух, главнокомандующий.

А деревня уже встречает: Цветоню, Вербу, Малину... У каждой хозяйки с собой черный хлебушек:

– Идёт, идёт моя дочка, идёт барыня!

Через полчаса после всей суматохи, после угощения коров хлебушком, яблочком и капустным листом, когда калитки уже закрыты, мы находим под дверью тёплое вечернее молоко – мартовское: от коровы Марты.

Литровая банка клубники

Я и люблю, и ненавижу сидеть у окна. Особенно в ту минуту, когда автобус вот-вот тронется, водитель прогревает мотор, провожающие машут руками, – именно здесь мне вдруг так хочется выскочить и оказаться по ту сторону стёкол.

Дело в том, что я ни с кем и ни с чем не могу спокойно расстаться.

Это началось у меня с проводов в пионерский лагерь на площади, выложенной серыми квадратными плитами, перед зданием маминого научно-исследовательского института.

Я сижу в автобусе, как раз у окна. Другие родители машут руками, колотят пальцами по стеклу, знаками показывают – пиши, мол, а моя мама, – которой я, кстати, очень стесняюсь, уж очень сильно она меня любит, первой примчится в первый же родительский день, – моя мама, провожая меня, никогда не машет рукой.

Раннее утро в лагере. Одноэтажные корпуса. Подстриженные кусты каких-то растений. В руках у меня горн. Я горнист. У моего горна – изгрызенный, безвкусный мундштук.

Про мундштук я, конечно, немного присочинила. Не такой уж я бывалый горнист. Я даже не помню, какой у меня был горн – то ли жёлтый, как начищенная монета, то ли блестящий и белый, как спинка железной кровати.

Хотя сама мысль, что я заставляла людей подниматься – в семь-то часов утра! – мне приятна.

Мне вообще нравилось в лагере: стоишь с перебинтованной рукой на смотре военно-патриотической песни, на сцене пахнет еловыми ветками, сквозь бинты щедро проступает алая кровь, – краски на раны мы никогда не жалели, – и все проникновенно поют:

В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой...

Когда я родилась, маме сразу сказали: «Запомни, ты будешь нужна своей дочке всегда. А когда ты кому-нибудь нужен – это счастье!»

Я была долгожданным и любимым ребенком. Мама мною очень гордилась. И даже вела дневник, в котором отмечала этапы моего роста, от «верхний зуб справа – девять месяцев» до – «стала приносить из яслей выражения».

Через десять лет, из пионерлагеря «Прометей», я отвечала маме той же любовью. Я просчитывала и оберегала каждый её шаг, мои письма были безумно предусмотрительны: «Мама! – настаивала я. – Выключай, когда уходишь, электрические приборы. Когда ешь рыбу, смотри осторожно – косточки! Не пей, разгоряченная, воду из холодильника, а вытащи, дай отстояться и потом можешь пить».

Я и ждала, и вместе с тем не хотела, чтобы он наступил, этот чудовищный родительский день. Зелёные лагерные ворота. Встречать и потом провожать маму было для меня страшной пыткой.

Уходя, она оставляла мне банку клубники. Клубника, пересыпанная, как водится, сахаром, давала сладкий тягучий сок.

Чтобы как-то прийти в себя и успокоиться после встреч и разлук, я долго сидела в круглой деревянной беседке на лавочке с облупленной краской. В руках у меня была эта банка. И горе моё, и утешение.

Ворон

© Рудашевский Е. В., текст, 2017

© ООО «Издательский дом „КомпасГид“», 2017

Глава первая

Дима всем друзьям рассказал, что едет на охоту. Они ещё сидят за партами, пишут диктанты и срезы по алгебре, а он тут готовится к настоящей жизни. Никто из них, даже Сашка, не держал в руках охотничьего ружья..

Всю осень Дима томился в нетерпении. Надоел друзьям рассказами об охоте. Даже Сашка в последнее время начал морщиться от этих разговоров, но тут было понятно, что завидует. У него-то в родне не нашлось ни одного охотника.

Вот уж больше года Дима ходил в библиотеку на улице Трилиссера, брал книги об охоте. Правда, читал без увлечения, урывками. Интереснее было с закрытыми глазами представлять, как он сам, истощённый, израненный ирбисом или росомахой, заваливается в сугробы, одеревеневшими пальцами успевает нажать на спусковой крючок – сделать последний выстрел и свалить хищника, летевшего на него в смертельном прыжке и готовившего свои когти для решающего удара. Ему вспоминалось, как один из охотников писал в своих записках, что, добыв первого вальдшнепа на тяге, он промолвил: «Ах, какое очищение души! Теперь надолго хватит. Лучше этого ничего не может быть!»

«Очищение души». Дима не знал, что это значит, но надеялся непременно испытать, как только подстрелит первого зверька.

Подходя к зимовью, Дима вспоминал мамину шубу и надеялся со временем подарить ей такую же; быть может, тогда она признает его увлечение охотой. Кроме того, надеялся однажды подарить соболью шапку Кристине, своей однокласснице. Она любила всё мягкое, пушистое и должна была оценить такой подарок. На прошлый день рождения Дима купил ей игрушечного белька байкальской нерпы.

Снаружи было холодно, но безветренно. Дима смотрел на окружившие поляну деревья, на синее небо, обмётанное белоснежной куржухой облаков.

Дима вдохнул – глубоко, до самого упора, и медленно выдохнул. Огляделся, надеясь приметить волка или лисицу. Шагнув вперёд, увидел ворона. Тот сидел на лиственнице возле зимовья и разглядывал юношу. Чёрный, с чуть взгорбленной головой, он сложил к бокам крылья и был недвижим, будто и не живой вовсе. На солнце его холка отливала фиолетовым. Под клювом, на шее, топорщились мелкие перья, словно

взъерошенная борода. Терновые лапки надёжно стояли на ветке. Крупные бусины глаз смотрели ровно.

– Чего уставился? – усмехнулся Дима.

– С кем это ты? – удивился вышедший Артёмыч.

– Вон, – Дима кивнул к ворону.

– Тебя тут не хватало! – проворчал охотник. Махнул рукой: – Пшёл!

Птица не испугалась, осталась на месте.

– Ну сиди, сиди. Сейчас стрельну, там посмотрим, какой ты смелый.

Артёмыч молча ушёл за ружьём. Едва он возвратился, на ходу заталкивая патрон в патронник, как ворон выставил крылья – будто сложенные из тонких пластин чёрного сланца, – склонился с ветки, издал своё трескучее «кра» и улетел за дом. Охотник не успел даже прицелиться:

– Чёрт бы тебя...

Глава вторая

Дядя сказал Диме, что и в этот день охоты на соболя не предвидится. Охотники ненадолго выйдут в лес, чтобы проверить соболиные следы, а весь день будут заготавливать дрова и готовить капканы.

Юноша окончательно расстроился, узнав, что его даже не возьмут в тайгу на разведку. Дядя наказал ему вымести зимовье от всякого сора и поработать лопатой – высвободить заметённое сугробом окно.

Охотники вернулись к полудню. Дима закусил губу, узнав, что первый выстрел прошёл без него. Николай Николаевич подстрелил изюбра. Тот по неосторожности вышел ему навстречу, и это было большой удачей. Обычно изюбры пугливы и отследить их сложнее, чем того же лося. Охотники освежали его на месте, к зимовью привезли только куски мяса и потроха. Мордочка Тамги была перемазана кровью – ей дали порезвиться над свежей тушей, в крови были и санки.

Мясо изюбра охотники решили увезти домой и подготовили для обжаривания – его нужно было высушить на солнце и подморозить. Для этого протянули верёвку от лиственницы, той самой, где сидел ворон, к зимовью. Привязали к ней куски мяса. Других забот оно не требовало.

– Пускай висит себе, никто его не тронет, – махнул рукой Николай Николаевич. – Собирайся, пойдём за дровами.

За дровами пришлось сделать несколько ходок, и Дима порядком устал, хоть к пиле его и не подпускали. Дядя и Артёмыч сами валили деревья, а Диме доверяли обрубать с них ветки. Это было не так сложно, но руки без привычки к подобному труду быстро устали.

Глава третья

Утром Николай Николаевич разогрел на печи оставшийся с вечера борщ. Дима ел через силу. Он был так взволнован предстоящей охотой, что совсем потерял аппетит. Даже сидя за столом, не опускал с колен ружьё, словно боялся, что забудет его в зимовье.

– Оставь. Всё равно стрелять пока не будешь, – предупредил его дядя.

Наконец вышли. Заложили дверь полешком.

До опушки дошли все вместе. Дальше разделились.

Под лыжами сухо поскрипывал снег. Дима впервые с благодарностью подумал о зимних уроках физкультуры. Без них он бы сейчас далеко не ушёл.

Когда дядя склонился к одному из кустов, Дима сразу понял, что тот наконец отыскал соболиный след, и поторопился к нему – хотел видеть и знать охоту всю целиком, от первой приметы до последнего выстрела.

– Осторожней, не топчи, – одёрнул его Николай Николаевич. – Видишь?

– Вижу, – с восторгом ответил Дима, хотя всё зрелище ограничивалось небольшими парными ямками в снегу.

Тамга без всякой команды поняла хозяина. Она соскучилась по охоте и, кажется, предвкушала её не меньше Димы. Обнюхав следы, побежала вперёд. Вела носом над снегом – стригла его, мордочки не поднимала. Охотники заскользили за ней, не отрывая взгляда от её скрученного хвоста.

Тамга учуяла добычу. Её лай раздался где-то впереди, потом – сбоку, потом – позади. Николай Николаевич ждал.

– Гонит, – объяснил он племяннику. – Надо, чтобы на дерево загнала. Там он наш. Хуже, если в камни или бурелом. Или под корни. Тогда долго возиться.

Когда лай участился, стал перемежаться громким поскуливанием и сосредоточился в одном месте, где-то справа, Николай Николаевич всё так же без слов заскользил в этом направлении.

Охотники подбежали к лиственнице, на которую лаяла Тамга. Зверька в кроне не было видно. Он затаился. Отходных следов не было. Значит, он на дереве. Дядя поднял ружьё, отщёлкнул крышечки прицела. Ничего не увидел. Отправил Диму к дереву – нужно было стронуть соболя.

Юноша, чувствуя, как от волнения дрожат руки, выхватил топор. Ободрал кору и начал обухом бить по древесине.

Тамга вдруг оживилась, закрутилась на месте, залилась визгливым лаем. Соболю стронулся! Но дядя не торопился стрелять. Ждал, пока тот успокоится на видном месте. В суете можно было повредить шкурку или вовсе промазать.

Соболю перепрыгнул на соседнее дерево. Тамга, не опуская головы, дёрнулась за ним. Началось открытое преследование. О следах на снегу можно было забыть. Главное – не упустить соболя из виду.

Зверёк подолгу готовился к дальним прыжкам. Знал, что, упав, сразу попадёт в зубы к лайке. Дима напряжённо следил за его движениями, переживал, потеряв соболя из виду. Николай Николаевич был спокоен. Знал, что не упустит добычу.

Соболю перескочил на сухостой и полностью открылся. Тут хвоя не могла его укутать. Дима увидел, что он чем-то похож на кошку. Пушистый, красивый; чуть наклонил голову, рассматривал преследователей. Его круглые мягкие уши хорошо выделялись на фоне посеребрённого неба. Грохнул выстрел – словно вздёрнулся лист жести.

Дима вздрогнул от неожиданности.

Зверёк тряпичным комом полетел вниз. Ударился о голые ветки, перевернулся и юркнул в снег.

Дядя подбежал, оттолкнул собаку. Достал обмякшего зверька. Осмотрел его и, довольный выстрелом, привязал снаружи к рюкзаку.

– Считай промысел открытым, – бросил он племяннику.

Дима стоял на месте. Не шевелился. Удивлялся, что совсем не чувствует радости. Наконец увидел охоту – от первого следа до последнего выстрела, но восторг отчего-то не пришёл, азарт притупился. Казалось, что его обманули. Будто должно было произойти что-то ещё, а всё ограничилось сухой последовательностью: выстрелил, подобрал, приторочил и пошёл дальше.

Поразмыслив, решил, что всё случилось чересчур стремительно. Он просто не успел прочувствовать момент. Ощущения явно будут другими, когда он сам добудет зверька. К тому же он отчётливо понял, что ему предстоит многому научиться у дяди. Должно быть, всё это вместе огорошило Диму. Размыслив так, он ободрился, пошёл вслед за удалявшимся дядей.

Повторились поиски следов.

Юноша неотрывно смотрел на тушку подстреленного соболя. Она болталась на рюкзаке Николая Николаевича, словно уже превратившись в меховой хвостик на соболиной шапке. Оскаленная мордочка. Игрушечные глазки. Игрушечный нос. Не верится, что этот зверёк был живым.

К зимовью возвращались молча. Дима шёл понуро. Своё настроение объяснил себе усталостью от долгих переходов и тем, что сегодняшняя охота принесла им лишь одного зверька.

– Мясо-то поклевали. – Вечером Артёмыч встретил их на пороге дома. Они с Витей вернулись чуть раньше.

– Кто? – удивился Николай Николаевич.

– Ясно кто. Ворон. Говорил же!

Пока Артёмыч готовил ужин, Николай Николаевич успел стянуть с соболя шкурку. Показал её племяннику. Дима, оправившийся от недавней хандры, с улыбкой погладил мех. Дядя назвал его добротным – выходным, то есть с густой тёмной шёрсткой. Такие ценятся больше всего. Дима приложил его к щеке, наслаждаясь мягким теплом.

– Ты бы рассказал, как ворона поймать, – сказал Артёмыч.

– Расскажу, – тут же ответил Николай Николаевич, словно только и ждал этой просьбы. – Хоть завтра поставлю тебе силок. И всё, не будет ворона.

– А чего тебе ворон? – зевнул Витя.

– А то, что не отстанет. Будет тебе каждый день мясо клевать. Потом своей жене повезёшь его обглодки.

Глава четвёртая

Утром Николай Николаевич насторожил сразу три петли. На зацепках укрепил полешки, по одному на каждую петлю. Они должны были намертво

пригвоздить ворона к лиственнице, кандалами повиснуть на его лапке. Из такой ловушки не уйти даже лисице.

– Будет тут метаться на привязи, потом околеет. А может, и нас дождётся, – шептал дядя.

Сегодня Дима шёл с Артёмычем – учиться капканной ловле.

Первый километр дался Диме с большим трудом. Ноги ныли и пульсировали. Дима давно придумал, какими словами расскажет Кристине о трудностях охоты, но не ожидал, что его слова будут настолько правдивыми.

«Ничего, ради такой истории можно потерпеть», – подбадривал он себя, и вскоре боль в ногах утихла.

Артёмыч учил Диму разбирать следы, выискивать из них наиболее глубокий и уединённый – в этом месте соболь делал большой прыжок, а значит, падал на снег всем весом.

– Для них, считай, это что? – Артёмыч достал из рюкзака метёлку, лопатку и пакет с маскировочным материалом. – Для соболя попасть на шубу – это как для тебя поступить в университет. Принести свою пользу! А то всю жизнь только жрут да гадят. Ну? Что это за жизнь? Будто и не жил. А так – красота! Ляжет на плечи какой-нибудь фифе, и все любуются! Будь у соболя побольше мозгов, сам бы в капкан лез. Ещё бы в очередь выстраивались!

На обратном пути охотники проверили вчерашние капканы. Почти все пустовали. А в одном, к радости Артёмыча, был соболь. Дима ещё не понял, почему так повеселел охотник, когда тот, подбежав к ловушке, разбросал сугроб и вытащил из него меховой ком – будто готовую шапку.

Юноша с интересом рассматривал зверька, даже взял его в руки. Тот был твёрдым и холодным, словно и не зверёк вовсе, а деревянная игрушка, украшенная обрезком с шубы.

Когда охотники вернулись на свою прогалину, юноша думал лишь о том, как бы скорее завалиться на раскладушку. Он устал ещё больше, чем вчера.

Артёмыч первым делом осмотрел обыгавшееся на верёвке мясо. Силки Николая Николаевича сработали. Вот только добычи в петлях не оказалось. Мясо же вновь было поклёвано. Малый кусок и вовсе пропал, ворон унёс его с собой.

Вечером в доме было тихо. Дядя варил суп. Витя и Артёмыч снимали шкурки с трёх соболей – двух подстрелил Николай Николаевич. Радости по этому поводу он не выказал, думал о вороне, о том, что простая таёжная птица оставила его в дураках. Значит, не такая простая. Значит, уже встречала силки и знала, как они работают, поэтому легко их сбила.

На следующий день Дима отправился с Витей. Вечером, вернувшись в зимовье, он с удивлением понял, что устал не так глубоко. «Привыкаю», – улыбнулся юноша, чувствуя себя матерым охотником, но отчасти признавая, что дело тут было и в том, что с Витей они ходили не так далеко и не так активно.

Мясо изюбра опять поклевали. Это беспокоило охотников. Прежде всего Николая Николаевича.

За ужином разговор был переменчивым, пока Артёмич наконец не промолвил:

– Ну и что будем делать?

– Ты про ворона? – спросил Витя.

– Про кого ещё...

– Что делать. избавляться от него. Раз привадился, теперь не отстанет, – громко ответил Николай Николаевич, поглаживая жёлтую, ороговевшую кожу своих рук.

– Опять силки? – спросил Витя.

– Бесплезно, – качнул головой Артёмич. – Ясно же, он их знает.

– Тогда что?

Все посмотрели на Николая Николаевича. Тот, не поднимая взгляда от рук, словно говорил сам с собой, тихо сказал:

– Сидеть в доме. Посидишь, обождёшь. Как прилетит, пришурупишься хорошенько и – бац! – Николай Николаевич шлёпнул ладонью по столешнице. – Охоться себе дальше.

– А стрелять-то как? – спросил Артёмич. – Снаружи ждать, так не прилетит. На поляне и спрятаться толком негде. В снег, что ли, закапываться?

Николай Николаевич сказал, что надо выставить стекло из узкой рамы, а ждать в доме:

– Холодно, но ничего... Деваться некуда.

Перед сном решили, что караулить будет Витя.

Глава пятая

Утром потуже растопили печь, занялись окном. Артёмич подшучивал над Витей, говорил, что тот освоит новый промысел – отстрел наглых воронов.

На прощание Николай Николаевич попросил Витю не курить. Сказал, что запах табака отпугнёт птицу.

Охотники ушли не прощаясь. Дима оглянулся к дому и почувствовал странное волнение. Прислушался к нему и неожиданно понял, что желает ворону удачи. Ему не хотелось, чтобы эта история закончилась так быстро.

Они с дядей всё глубже уходили в тайгу, а Дима мыслями невольно возвращался к зимовью, жалел, что не мог остаться с Витей, вслушивался в чашу – в подозрении уловить эхо дальнего выстрела.

Соболя никак не удавалось отследить, и дядя рассказывал племяннику о собачьих повадках. Объяснял, как воспитывать лайку и как за ней ухаживать на промысле.

Дядя отвлёкся к соболиным следам, а Дима опять подумал о вороне. Как он там? Уже попал на дробь или только подлетает к зимовью?

Витя тем временем думал о Диме, гадая, добыл ли он своего первого соболя. Стоял в углу и курил в ладошку, будто это могло скрыть табачный запах.

К двум часам, истомившись и подмёрзнув, Витя начал прогуливаться по дому. Пробовал читать книгу, но так и не увлёк себя повествованием.

В три часа Витя заварил себе чай. Уже не надеялся увидеть ворона. Разрядил ружьё.

Свечерелось.

Ворон так и не наведялся к мясу.

За ужином Дима улыбался. Смешно, ворон обхитрил людей. Молодец.

Дядя был недоволен этим днём. Соболя добыть не удалось. Тамга не учуяла ни одного свежего следа. Племянник докучал своей глупостью. Ещё и ворон опять оставил его в дураках.

– И всё-таки странно. – Артёмыч выскребал из тарелки остатки риса с тушёнкой. – Всё прилетал, а тут, как решились караулить, не прилетел.

– Он мог заподозрить засаду? – спросил Дима.

– Ну конечно, – хмыкнул Артёмыч. – Прислал на разведку пару кедровок и заподозрил.

После ужина сидели в тишине. Спать ещё не хотелось, а разговор не получался.

Прервать молчание попробовал Дима:

– Главное, мне обо всём этом учительнице по географии не говорить.

– О чём?

– Об охоте.

– Это почему?

– Она против охоты. Против меховых шуб и всего такого. Говорит, природу надо беречь, а зимой и в синтетике тепло.

– Это потому, что у неё на шубу денег нет, – усмехнулся Артёмыч.

– Нет, она всерьёз.

– Да все всерьёз, когда на шубу денег не хватает. Витя вяло поддакнул.

– Дура! – вдруг отозвался Николай Николаевич.

Он быстрым движением распахнул дверцу в печи и кочергой, переделанной из строительной скобы, принялся ворошить прогоревшие поленца.

– Кто? – рассмеялся Артёмыч.

– Учительница эта – дура.

– Почему? – тихо спросил Дима.

– А потому, что головным мозгом нужно думать, прежде чем детей брехнёй пичкать. О природе она заботится... А ничего, что для её синтетической куртки нужно сперва сделать химволокно? Понимаешь?

Дима покачал головой.

– Да где уж... – Николай Николаевич отложил кочергу и теперь просовывал в топку новые поленца. – Если б сам, без своих учителей подумал, то понял бы, что тут нужно химволокно. Значит, нужно бурить скважину, качать нефть. Так? Для нефти нужен трубопровод. Так? Значит, вырубает километры тайги. Под корень. – Николай Николаевич шлёпнул ладонью по полу. – Кладём трубы. Качаем нефть к заводам. Заводы пыхтят, делают твою синтетику, а заодно заливают округу тоннами всякой ядовитой дряни. Понимаешь? Вот тебе и забота о природе. А потому что дальше носа у кого-то мозги не растут. Втемяшили себе, что добывать мех – это плохо. А

мы тут, знаешь, химикаты не разбрасываем. Просто берём, что природа сама даёт. И соболей, знаешь, меньше не становится. Потому что есть норма отстрела и восстановления поголовья. Слышал о таком? А? Как тебе?

Дима ничего не ответил. Потупившись, смотрел в угол. Он не ожидал от дяди подобной реакции. И уж конечно, не собирался с ним спорить.

«Ну, химикаты, и ладно. Зачем учительницу дурой называть?»

Глава шестая

Ещё не вызрело утро, когда Витя и Артёмич выскользнули из зимовья на промысел. Нужно было спешно проверить расставленные капканы. Вьюга могла завалить их сугробами или вовсе рассторожить упавшей веткой.

Получасом позже из дома вышли Николай Николаевич, Дима и Тамга.

Дышалось просторно и радостно.

Взглянув на обыгвашеся мясо изюбра, дядя сказал, что тому нужно ещё пару деньков повисеть под хорошим солнцем. Дима скрыл улыбку. Ему казалось, что дядя не хочет убирать мясо сейчас, чтобы это не выглядело уступкой ворону. Николай Николаевич был хозяином здешней тайги и даже на малую толику не допускал, что кто-то может оспорить его власть – ни медведь, ни волк и, уж конечно, не ворон.

Юноша надеялся, что ворон ещё вернётся, пожелал ему удачи, но забыл о нём, едва оказался в лесу. Теперь все мысли были об охоте, о важности сделать первый точный выстрел – такой, чтобы не испортить шкурку соболя и не подрать его зазря.

Снега вчера намело много. Тамга шла по нему неуверенно, проваливаясь, оставляя взрыхлённую борозду. Зато звериные следы хорошо просматривались и все были свежими.

Волнение началось, когда Николай Николаевич в полдень склонился к снегу и сказал:

– Это твой.

– Чего?

– Соболя, чего. Видишь? Отпечаток маленький, овальный и не очень глубокий. Значит, самочка. Или сеголеток. Меха с него не ахти какой, но на первую добычу сгодится. Начнёшь с такого, а там посмотрим.

Тамга взяла след, и Дима, взволнованный, поторопился за ней.

Лайка оживилась, стала чуть поскуливать и мотать скрученным хвостом. Соболя был близко.

Тамга рванула вперёд.

Соболя, прячась от погони, прыгнул на дерево. Но вместо того чтобы устремиться напрямик к макушке, отчего-то побежал по стволу серпантинном. Будто искал чего-то. А потом исчез.

Тамга лаяла, скулила, топталась на месте. Николай Николаевич высматривал отходные следы. Дима сжимал в руках ружьё. Ждал. И надеялся, что соболю удалось сбежать. Разве можно стрелять, когда в голове вихрится такая пурга? Лучше переждать, успокоиться и к следующему соболю подойти с ясным взглядом, ровным дыханием.

– Он тут, – дядя ударил лыжной палкой по дереву.

Дерево оказалось дуплистым. Соболь спрятался в нём. Затаился, надеясь, что охотники потеряют его след. В дупле могло быть гнездо.

– Это не плохо, – говорил Николай Николаевич, доставая из рюкзака пакет с тряпьем. – Хуже, если он ушёл в корни. Тогда ещё долго будем копаться.

Выбрав лоскут сухой тряпки, дядя взялся за топор. Простучал ствол, нашёл тонкое место. В несколько ударов прорубил зубатую прореху.

Николай Николаевич подпалил тряпку. То раздувал, то приминал народившийся уголёк. Наконец раздухарил настоящий дымокур и пропихнул его в прореху ствола. Прислушался. Кивнул своим мыслям и обошёл дерево с другой стороны.

Тамга молча смотрела на хозяина. Она и прежде видела, как выкуривают соболя. Знала, что в эти секунды нужно затаиться.

Дерево задымил. Как кипящая кастрюля, из которой во все щели валит пар. Дуплистый ствол разом открыл прежде скрытые проёмы. Серый дым вытягивался из них, путался в сухих ветвях и рваным облаком устремлялся к макушке.

– Вон!

Дядя указывал куда-то вверх.

– Жди, – скомандовал дядя. – Не пали раньше времени. Пусть затихнет.

Дима и не думал стрелять. Он по-прежнему не видел зверька. Приметил его, только когда тот, спасаясь от горького дыма, прыгнул на лапы соседней ели.

Юноша молча, сосредоточенно следил за каждым движением зверька. Тёмный кошачий силуэт. И круглые ушки на фоне белого неба.

«Не уйдёшь. Ты мой».

Волнение иссякло. Пришёл охотничий азарт. Восприятие стало ясным, свежим. Дима чувствовал себя как никогда сильным, взрослым. Вместе с этим юным соболем он должен был убить своё детство и свои слабости.

«Не уйдёшь. И шкуру я сам с тебя сниму».

«Маленький гадёныш!»

«Зачем бежать? Смирись!»

Дима усмехнулся таким мыслям.

Охотники прошли за соболем не меньше трёхсот метров. Зверёк оказался проворным. Николай Николаевич с первого взгляда убедился, что это сеголеток. Такого можно было и отпустить, чтобы не отвлекаться от более ценных соболей, но Николай Николаевич заботился о племяннике. Знал, что тому нужна первая добыча.

Зверёк устал. Отчаялся. Оказавшись на массивном стволе лиственницы, решил затаиться. Прижался к тёмной коре и замер. Посчитал, что так его снизу не заметят. Тёмная тушка с пушистым хвостом. Таится на полном обозрении. Идеальная цель.

Нахлынуло волнение, но теперь оно было иным. Звонким, растянутым одной долгой нотой. Острым, как стальная струна. Пульсирующая тяжесть накрыла голову капюшоном. Сдавила виски.

Дима не успевал обдумать свои движения. Тело действовало самостоятельно. Он и не заметил, как поднял ружьё. Уткнул приклад в плечо. Отщёлкнул крышечки прицела. Прикрыл левый глаз. Поймал дыхание. Замёрзшим пальцем ощутил сопротивление спускового крючка. Вспомнил, что варежка осталась там, у дуплистого дерева. Поэтому кисть правой руки так замёрзла. Эта ненужная, неуместная мысль отрезвила. Дима понял, что целится в голову соболя. Оставалось выстрелить. Тут не промажешь.

– Давай, – процедил Николай Николаевич.

Он стоял рядом и тоже целился.

Долгие глухие удары сердца. Дыхание вырывалось.

Нельзя медлить.

Дима нажал на спусковой крючок. Но ещё раньше, за доли секунды до этого, сместил прицел влево.

Выстрел оглушил. Соболя сдёрнул. Побежал вверх по дереву.

Промазал. Дима промазал...

Грохнул второй выстрел. Дядя подстраховал племянника. Соболек как-то сразу отлип от коры. Безжизненной тряпкой полетел вниз. Ударяясь о ветки, переворачивался. Шлёпнулся в снег.

Дима весь обмяк. Едва не выронил ружьё. Он понял, что промахнулся намеренно. Пытался убедить себя, что всему виной была дрогнувшая рука, но тщетно. Он сам всё испортил. Выстрелил в сторону. Но почему? От обиды и едкого презрения к себе выступили слёзы. «Почему?!» – твердил Дима и не находил ответа.

Дядя подозвал юношу к себе.

– Ну ты мазила. В такого с закрытыми глазами стреляй, а ты устроил петрушку.

По снегу были разбросаны рябины крови. Соболек лежал весь напружиненный. Вёл челюстями, будто глотал – глотал воздух и не мог надышаться. Глаза у него были мутными. Тонкой блестящей корочкой в них застыл страх. Видел поймавших его людей, вздёргивал лапки, но убежать не мог. Только что таился в безопасности, а теперь лежал здесь, умирал. Дядя ворочал его как кусок мяса на прилавке, оценивал шубку, а соболек из последних сил сопротивлялся. И когда лапки замерли, продолжал бессмысленно водить челюстями.

Тамга вилась вокруг, принюхивалась. Дядя отталкивал её локтями и продолжал осматривать зверька. Пуля пробила ему горло. Крови получилось много, и дядя был недоволен.

Юноша не мог оторваться от отчаяния, безнадежности в глазах соболя. Не осталось ни мыслей, ни чувств. В Диме всё выстудилось белой пустотой. По щекам прошёлся холод. Дима понял, что плачет. «Только бы дядя не заметил».

– Видишь, сколько крови? Плохо. Всю шкурку перепачкал, потом оттирать замучаешься. Вся мездра пропитается.

Николай Николаевич достал нож. Бросил лайке очередное «Фу!» и продолжил:

– Тут лучше сразу освежевать. мех и так скудный. Так что смотри. Учись, как правильно.

Дядя перевернул соболька. Пробовал положить его себе на колени, но побоялся испачкать штаны. Наконец умял его в снег.

– Подрезаешь хвост. Вот так. И аккуратно тащишь позвонки.

Дима задохнулся ледяным потоком. По лбу рассыпались тысячи острых снежинок.

Дима застыл ледяной глыбой. Бесчувственный, безвольный. И смотрел.

– Теперь подрезаешь лапки. Вот так. Коготки должны остаться на шкуре. Вот так... Видишь? Хорошо идёт. Лапки вынимаешь. Теперь тянем шкурку. Можно его за лапы прибить к дереву и стягивать двумя руками. Так даже проще.

Дима, стиснув зубы и сам весь сжавшись до болезненной твёрдости, смотрел, как из красивого меха выворачивается, вырождается кровавый уродец. Худой, убогий.

Дядя, оттянув лапки зверька, снимал с него шкуру – так же, как Дима снимал с себя, через голову, футболку или майку, только дяде приходилось напрягать всю силу рук.

Вслед оледенению пришло слепое безразличие. Дима окончательно запутался в чувствах. Не было ни сил, ни желания разбирать их, как-то называть и объяснять. Он просто смотрел. Сам вывернутый наизнанку, пережеванный, окровавленный. Холод жёг пальцы правой руки. А ружьё в руках стало необъяснимо тяжёлым. Теперь вся концентрация уходила на то, чтобы держать его, не опускать в сугроб.

«Ах, какое очищение души!»

– А тут надо осторожнее. Смотри. Подрезаешь ушные хрящи. Вот так.

«Ушные хрящи», – вторил Дима.

– Тянешь. Теперь подрезаешь глазные связки.

«Глазные связки».

– Ну и под конец срезаешь носовой хрящ.

«Срезаешь носовой хрящ».

– Всё просто.

«Всё просто».

Дядя целиком снял шкуру. Бережно расправил её мехом наружу. Голую тушку бросил в снег. Она была не нужна. Кусок мяса. А соболь ещё шевелился. Приоткрывал оскаленную, оголённую на все зубы, челюсть. Вёл передними лапками. Мутные вылупленные глаза.

«Он ещё жив».

Последние мгновения осознанности. Чувства зверька были выжжены болью. Всё его тело стало болью.

Дядя пропустил верёвку через глазные отверстия шкурки. Привязал её к рюкзаку. А Дима не отрываясь смотрел на зверька. На его припорошенные кровавым снегом оголённые глаза.

Глава седьмая

Вернувшись в зимовье, охотники обнаружили, что обыгавшееся мясо опять расклевал ворон. Сложив у двери ношу, они растерянно выглядывали оставленные клювом отметины.

– Опять целый кусок стащил. – Витя отворил дверь. – Куда ему столько? Назло нам что ли?

Николай Николаевич выругался и поспешил в дом, к печке. «Хороши охотнички, – думал он. – Какую-то птицу прибить не могут. Глупость. Никогда такого не было». Своих мыслей он, конечно, озвучивать не стал и вообще этим вечером говорил мало.

Его племянник был так же молчалив. Выглядел потерянным, без меры утомлённым, будто в этот день бегал за соболями сам, вместо собаки.

Дима поглядывал то на печку, то на светильник, то вовсе терял взгляд в рассеянной близорукости. Думал о вороне. Вспоминал свою слабость на охоте, окровавленное тельце соболя. Затем весь отошёл к мыслям о родителях, о школе.

Нестерпимо захотелось назавтра проснуться в своей постели, собрать портфель, встретиться с одноклассниками, спрятаться за учебником от причитаний учителя, улыбнуться глупым анекдотам Сашки. Увидеть Кристину.

«Слабак, – прошептал себе Дима. – Слабак!»

Надеясь хоть как-то встряхнуться, он встал с раскладушки. Подошёл к вывешенным на верёвке соболиным шкуркам. Стал гладить мех. «Вот она, добыча настоящего мужчины». Ничего, кроме отвращения, не испытал. В отчаянии, в глухой ненависти к себе, почувствовал, что опять расплатится, поэтому поторопился назад, на раскладушку. Отвернулся к стене, притворился спящим. Никто и не думал его трогать.

Вскоре Николай Николаевич уgomонил охотников. Погасив светильник, сказал, что завтра Витя опять будет караулить ворона.

– А смысл? – спросил Артёмич.

Дядя не ответил.

Неожиданно для самого себя Дима тихо спросил:

– Может, оставить его?

– Кого? – не понял дядя.

– Ворона. Оставить в покое. Пусть себе летает.

– Это почему?

– Ну... Может, он не... Ведь, можно сказать, он тут хозяин. Пусть клюёт, зачем убивать?

– Мы тут с ним оба хозяева. На равных. Кто умнее, тот и лучше.

Глава восьмая

Ночью небо очистилось от облаков, покрылось щедрой россыпью звёзд. Температура резко упала, и солнце вошло багровое.

Охотники ещё раз обсудили, в какой тишине должен сидеть Витя, как караулить и стрелять в ворона. Говорили улыбаясь. В утренней бодрости всех забавляло противостояние с птицей.

День выдался бесснежным и холодным.

В тёплой одежде было хорошо. Собственное тело стало уютным домом, из которого юноша выглянул подышать таёжной прохладой.

Лес спал, а с ним спали его птицы, насекомые, растения. От этой мысли Диме стало спокойно. Впервые тайга показалась ему такой же уютной, как и зимовье. Она тоже была домом. И не таким уж большим, если посмотреть на холодные просторы космоса вокруг.

«Уютный, тёплый дом – планета, – подумал юноша. – Со своими грязными углами, протёкшей крышей, щелями в полу. Но всё-таки дом. Единственный. И другого не будет».

Охотники ходили ещё минут десять, прежде чем Артёмыч, довольный, указал:

– Вот. Видишь? Чего киваешь-то? Наклонись хоть над следом. Смотри. Лапки уже враскос стоят. И расстояние между прыжками короче. Почему?

– Устала? – предположил Дима.

– Обожралась! – рассмеялся Артёмыч. – Набила брюхо и домой топаёт. С таким брюхом особо не попрыгаешь. И видишь, какая теперь тропка?

– Прямая?

– Во-от! А говорил, не видишь ничего.

Охотники пошли вдоль наследа. Дима помнил наставления дяди, поэтому старался шагать чуть в стороне, чтобы не сломать звериную тропку. Если она запутается, перевяжется с другими тропками, можно будет вернуться и подхватить её сызнова.

Артёмыч неожиданно перешёл к следующему дереву. Дима поторопился за охотником. Ждал объяснений, но Артёмыч молчал.

Перейдя к третьему дереву, юноша не выдержал:

– Ну что?

Охотник нехотя, шёпотом объяснил, что белка пробежала тут меньше часа назад, что её путь можно отследить по свежим обсыпкам с веток. Из-под её лапок падали шелушинки коры, снежная опока, прядки лишайника и даже метёлки хвои. Всё это свежими вехами обозначило беличью верховую тропу.

Сколько Дима ни всматривался в снег, ничего не примечал. Для него лесной сор оставался однообразным.

Казалось, что Артёмыч разыгрывает его или просто обманывает, но охотник шёл уверенно и ступал бережно, опасаясь спугнуть зверька.

– Там.

Дима опять ничего не увидел.

– Белка?

– Гнездо. У ствола, в развилке веток. Иди к дереву. Когда я дам знак, стукни по нему.

– Зачем?

– Белка – дура, – тихо улыбнулся охотник. – Если стукнуть, она сразу выбежит и замрёт. Обязательно замрёт. Всегда замирает. На долю секунды, не больше. Тут её надо валить. Один шанс на один выстрел. Если не успеешь, она дальше побежит, потом гоняйся за ней. Главное – поймать момент. Давай ружьё.

Неделю назад Дима обиделся бы, попросил бы доверить выстрел ему. Ружьё-то было его. Но сейчас он отчего-то был рад, что Артёмыч без обсуждений решил стрелять сам.

Юноша сделал всё, как просил охотник. Подкрался к ели. Ударил кулаком по коре. Выстрела не последовало.

Артёмыч решил, что белка им попалась слишком умная – затаилась.

– Ладно, чёрт с ней.

Дальше ждать не было смысла.

Охотник сдался, но напоследок устроил поблизости капкан с очепом.

Диму вновь поразила простота и действенность этой конструкции.

Они возвращались назад по своим следам. Вышли к низкой беличьей тропе, вдоль которой не так давно крались, надеясь на добычу. Юноша склонился к ней, чтобы ещё раз взглянуть на следы, когда позади что-то обвалилось. Послышался не то скрип, не то шелест. Он не затихал. Оставался тонким, но громким.

– Выкуси! – вскрикнул Артёмыч.

– Что это?

– Что-что?! Белка! Говорил же, дура! Сытая, а за дармовыми орешками полезла. Ну как же, рядом с гнездом, чего бы не взять.

Дима увидел белку. Пойманная капканом за лапку, она извивалась на весу. Гневно цокала, фыркала, будто крохотная разъярённая лошадь. Мотала головкой, выдёргивалась всем тельцем. Цеплялась зубами за пленённую лапку, стрекотала по ней зубами, затем откидывалась, тянулась к стволу и вновь цокала – наперебой с собой. Коромысло очепы чуть наклонялось. Поводок дёргался. Но белка не могла вырваться. Надёжные дуги капкана не выпускали её.

Вся тайга затаилась. Молча и слепо следила за пойманным зверьком.

Белка, завидев охотников, стал метаться на последнем пределе исступления. Её цокот, шипение слились в единую струну отчаяния. Потом белка затихла. Прикрыла глазки. Можно было подумать, что она умерла. Ещё одно мгновение, и белка опять взвилась. Вновь началась агония, отчаянные рывки, попытки высвободить себя. Диму начал злить этот крик – он сдавливал голову в пульсирующий боляток. Злость собралась где-то под лопатками и тянулась к горлу, поднималась криком – перекричать эту белку, изорвать её своим голосом.

– Чего ждёшь? – донеслось откуда-то издалека. – Глуши её! Будет твоя первая добыча.

Говорил Артёмыч. Он был где-то поблизости, но Дима его не видел. Сил оглядеться не было. Шея обросла льдом.

– Как? – спросил кто-то сухим голосом.

Спрашивал сам Дима, но не узнавал свой голос.

– Как, как... Бери палку и глуши.

Нашёл палку. Поднял. Показалось, что рука держит её слабо, неуверенно. Сбросил варежку. Взял голый ладонью. Ледяные острые культипки веточек, грязная кора. Так лучше.

Дима приблизился к очепу.

Белка замерла. Молчит. Обвисла. Но дышит. «Обмануть решила? Выкуси!» Дима ударил. Белка отлетела на поводке и опять взвилась. Стала кричать ещё громче – выворачивая нутро. Заметалась. Ещё удар. Отлетела. Беснуется, запутавшись в лапках, хвосте, голове. «Паскуда...» Ещё удар – сильнее. Зверёк отлетел выше, стукнулся о ствол и вернулся назад. Не перестаёт жить. «Прекрати!»

Сзади донёлся новый звук. Ядовитый, тягучий. Диму передёрнуло. Он понял, что это смеётся Артёмыч. И с каждым ударом его смех становился громче.

Злость, отчаянье последних дней сдавили дыхание. Словно гнойник собрался в груди, а потом лопнул, расплываясь по телу зловонным гниением, уничтожая, убивая. Дима стал без остановок лупить палкой по зверьку. Мазал. Откидывал его на поводке и бил снова. Палка цеплялась за верёвку. Выдёргивал её. Бил. Вновь и вновь. Это было похоже на безумную игру. В слезах, до крови закусив губы, Дима набросился на дерево, к которому был прибит очеп. Пинал его, бил палкой. Прыгал на месте. Весь изгибался, кукожился от головы до ног. Кричал, разрывая горло в кровавые лоскуты. Будто это он попал в ловушку охотников и сейчас сражался за свою свободу. Отдёрнулся, когда белка неожиданно опустилась к лицу. Это Артёмыч приподнял толстый конец очепа, надеясь, что так юноше будет удобнее. Он даже сказал что-то, но Дима не услышал. Всею силой ударил палкой по дереву. Сломал её. С криком бросил обломок в Артёмыча. Тот, выпустив очеп, едва увернулся. Выругался и хотел уже подойти к Диме, но тут увидел, что белка слетела. Слишком тугой капкан перебил ей лапку, и в последнем рывке зверьку наконец удалось её оторвать. Упав на снег, белка метнулась в сторону. Охотник бросился за ней, вытаптывая её кровавый след.

Всё стихло.

Дима упал на колени.

Дрожал всем телом.

Откинулся спиной к дереву. Посмотрел на очеп, поводок и капкан с оторванной лапкой. С неё капала кровь. Захотелось оказаться дома. Вот так – щёлкнуть пальцами и очутиться в своей комнате, посреди городского шума. «Как же тяжело.»

Вся недавняя злость исчезла. Осталась лишь пустота, она чёрным песком обмела грудь изнутри.

– Ну ты даёшь! – вернулся довольный Артёмыч. – Точно, что в тихом омуте всякая чертовщина водится. И белку отдубасил, и дерево, и меня ещё прибить хотел! – Охотник хохотнул. – Даёшь. Тут по башке один раз стукнул и нормально. А ты ей весь зад отбил. Ладно, пойдём.

Остаток охотничьего дня Дима молчал. Капканами не интересовался, на соболиные следы не смотрел. Плёлся где-то за Артёмычем, изредка поглядывал на трёхлапую белку, привязанную к его рюкзаку. Опустошённый, он ни о чём не думал и хотел только, чтобы быстрее закончился этот день, а с ним и весь промысел.

Возвращаясь к зимовью, Дима уже знал, что охотиться не будет. Не убьёт ни одного зверька, не снимет ни одной шкурки. И не будет хвастать перед Сашкой меткостью своих выстрелов.

Удивился тому, как спокойно принял эту мысль.

Артёмыч с Димой вернулись первыми. На пороге их встретил Витя. Ворон опять не прилетел в засаду.

«Так вам и надо».

Глава девятая

На следующий день Диму отправили в лес с Витей. О вчерашнем, кажется, позабыли. По меньшей мере, никто не поминал ни дятлов, ни избитых палкой белок. Жизнь продолжалась. Охотники шли опромыслять тайгу, и всё прочее было не важно.

Дима впервые оставил ружьё в доме.

Скользя в отдалении от Вити, ни о чём не спрашивал. Не интересовался ни капканами, ни приманкой.

Дима вдруг понял, что прежде, думая об охоте, совсем не видел леса, не замечал его. Чащоба проходила мимо однообразным фоном. Теперь всё переменялось.

Осиновое редколесье сменялось каменистым урочищем, купным ельником. За перелеском были поляны. Деревья то сцеплялись широкими лапами, то расступались. За очередной колодой, едва заметной в сугробах, начиналась новая прогалина.

На одной из полян все кусты были затянуты прозрачной ожеледью – их тонкие ветви в летнюю пору устремлялись к небу, были упругими и сильными, а теперь поникли под тяжестью льда. Так случается, когда в дни большой влажности приходят заморозки. Туман оседает на кустах ледяной коркой, сбить которую не могут ни птицы, ни ветер. Припорошенный снегом, тальник до самой оттепели останется неподвижным пленником зимы.

За ближним рядом ёлок – дальний. Снег расходился белыми волнами: опускался в тесные логи, поднимался к холмам. В движении, если смотреть вперёд, где-то сбоку, между деревьев, угадывались образы лосей, изюбров и даже росомах. Дима знал, что это обман зрения, но не хотел его рассеивать. Дышал лесом, любил его – со всеми иллюзорными и настоящими образами. Думал о могучей, разнообразной жизни, которая сейчас таилась под снежными заносами и готовилась по теплу подняться гущиной запахов и красок.

Витя искал новое угодье, чуть в стороне от путика; так охотники невольно забрели в чащу. Деревья тут стеснились. Пройти между стволов было непросто, лыжи упирались в корни и валежины старой гари. Приходилось отворачивать, пятиться.

Охотники ползли под хвойной юбкой, стряхивали себе на голову пушистые шматки снега. Витя ворчал, а Дима всё глубже проникался таёжной радостью. Улыбка не опадала с его лица, будто замёрзла на зимнем ветру.

Посмотрел вверх и сквозь дебелие крылья елей увидел, как раскачиваются заострённые кисточки лесных хвостов. Кроны здесь иногда встречались худые, немощные и вовсе кособокие. Но чаще они были сытыми – тяжело вздымались под самое небо.

Вернувшись к вечеру в зимовье, Дима едва сдержал радостный возглас. Ворон опять прилетал и хорошенько расклевал мясо. Радость юноши никто не разделил.

За ужином говорили о вороне. Договорились, что на завтра в доме останется Артёмич. Вечер закончился малыми заботами. Николай Николаевич штопал разошедшийся по шву рукав. Витя проверял крепление на лыжах. Артёмич готовил для него приманку. А Дима думал о вороне. Не знал, как ему помочь в противостоянии с охотниками.

Утром пришлось в третий раз выставлять стекло. Николай Николаевич заложил в печку несколько полешек, но попросил Артёмича больше огонь не подкармливать – по меньшей мере до обеда, чтобы дыма из трубы было не больше, чем в дни обычной охоты. Также для меньшего шума предложил не выходить за порог и по необходимости пользоваться ведром.

Дима сказал, что опять пойдёт с Витей. Дядя не спорил. Он теперь почти не говорил с племянником, не обучал того охоте, не спрашивал о чистке ружья. Почувствовал перемену в Диме и быстро с ней смирился. Главным было охотиться, а не заниматься ерундой.

Артёмич проводил охотников, но из дома не показался. Сплюнул в уголок, сел на табурет, уложил на колени заряженное ружьё и стал ждать.

Он не позволял себе шуметь. Отказался от хождений по дому. Когда схлодилось, укутался в спальник и наказал себе до вечера не подниматься с табурета, ждать. Рядом, на столе, устроил возможную закуску: чай и вчерашние макароны с тушёнкой.

Охотник подбадривал себя неприязнью к ворону и тем, что, поймав его, сможет высмеять Витю.

В тусклом ожидании даже малое происшествие отзывалось долгими мыслями.

В ногах и спине томилось неудобство. Печь утихла и остывала. От мороза приемели щёки. В однообразии проявилась сонливость. Охотник умело противился ей, однако порой застывал в непродолжительной, но уютной дреме.

Ворон так и не прилетел.

Возвратились охотники.

– Чертовщина, – вздохнул Витя.

– Нам теперь что, каждый день мясо сторожить? – спросил Артёмич.

Николай Николаевич ответил не сразу. Скривив губы, нехотя промолвил:

– Он нас считает.

– Кто считает? – не понял Артёмич.

– Ворон, кто.

– Не бывает такого.

– Значит, бывает. – Николай Николаевич качнул головой. – Наблюдает издалека. Это не сложно. Сел себе на дерево. Чёрный, никто тебя не разглядит. Тем более... В общем, смотрит и считает.

– Не бывает такого.

– Коля прав. Как ещё объяснить? – промолвил Витя.

– Не знаю как. Но я не поверю, чтоб ворон умел считать. Глупость какая-то. Он птица. Хитрая, наглая, но глупая, как и все птицы, – настаивал Артёмыч.

– А мы ещё глупее, раз не можем его подстрелить, – заключил Николай Николаевич.

– И что ты предлагаешь?

– Предлагаю обмануть.

Глава десятая

– Нужно сделать чучело, – продолжил Николай Николаевич.

– Чего? – не понял Артёмыч.

– Чучело! Такое, чтоб на тебя походило. Ну, руками, ногами, башкой.

– Полегче, – усмехнулся Артёмыч.

– Ты останешься дома, а мы выйдем с чучелом.

– Ворон увидит, что в лес пошли четыре человека, и довольный полетит к мясу.

– А тут – бац! – Артёмыч, подражая Николаю Николаевичу, хлопнул ладонью по столу – до того громко, что напугал Тамгу.

– Ну ты придумал! – рассмеялся Витя. – Если прилетит, будет потом байка на много лет.

– Прилетит. Никуда не денется.

Перед сном сделали кукольного охотника – из рваной тужурки, трёх подушек, тренировочных штанов, ушанки и запасных ботинок Артёмыча. Дима наблюдал за всем с интересом, но своей помощи не предлагал. Ему не хотелось участвовать в поимке ворона, пусть даже таким необычным способом.

К утру небо совсем разъяснилось. Обещался студёный, но светлый день.

Дядя сказал, что чучело понесёт Дима. Первым порывом юноши было отказаться от предложенной роли, но он тут же смекнул, что, оставшись в стороне, не сможет пособить ворону, а так будет дёргать чучело и наклонять – во всём выдавать неестественность его движений.

Дима длинными палками удерживал за собой чучело. Тонкие ноги болтались – можно было заподозрить подлинность человеческого шага. Отойдя от прогалины на два километра, охотники разобрали чучело, уложили его в мешок и оставили под лиственницей.

Как-то само, без слов, получилось, что Дима вновь пошёл с Витей. Он был этому рад, опасался, что дядя заставит его стрелять.

Для Артёмыча повторилось молчаливое ожидание. Всё было так же, как и в прошлый раз.

Охотник предчувствовал, что и сегодня зазря просидит в засаде. «Может, подсыпать в мясо яд? – думал он и переминал в ладони патрон. – Пускай травится. Где ж здесь яду возьмёшь? Да и всё мясо, что ли, травить? Много чести».

В бездвижности утомились руки и спина. Хотелось бегать, колоть дрова, что угодно, лишь бы не сидеть попусту на твёрдом табурете.

Дима тем временем обедал у костра с Витей. Дима стал расспрашивать его о тайге, о населявших её зверях.

Витя увлечённо рассказывал о том, как скрадывать осторожную лису, как привлекать её, подражая крикам раненого зайца, как по снегу выслеживать сохатого, как по чернотропу искать соболя.

Диме не понравились эти истории. Он отвёл взгляд, надеясь, что охотник замолчит и больше не будет рассказывать о промысле.

Выходя после обеденного привала, он опять подумал об этом удивительном противоречии: Витя, Артёмыч, Николай Николаевич так хорошо знали природу, повадки животных, но без сожалений убивали всех, кто встречался им на пути.

«Наверное, они тоже по-своему любят природу. Но любят для себя – как машину или дом. Главным для них остаётся человек. Горы они любят – как стены, деревья – как шкафы, зверей – как вазы, украшения, статуэтки. Считают их красивыми. Любуются. А при необходимости используют. Сдирают мех, выщипывают перья, режут на куски мясо».

Увлечённый такими мыслями, Дима порядочно отстал от Вити. В спокойном шаге думалось просторнее.

В зимовье Дима опять возвратился не в духе, впрочем, там его ждала радостная новость – ворон не прилетел. Артёмыч, как и Витя, потерял два промысловых дня. Чучело не помогло. Охотники опять остались в дураках.

Глава одиннадцатая

Находиться в зимовье было неприятно. Дима брезгливо поглядывал на шкурки соболей, на ружья, на очищенные и подготовленные для завтрашней охоты капканы. С не меньшей брезгливостью смотрел на самих охотников.

Удивлённо вспоминал, с какой радостью приехал сюда две недели назад. Никогда прежде он не испытывал столь стремительных и неожиданных перемен в своих чувствах. Пожалуй, слишком стремительных. Дима устал. Эта усталость была для него новой. Она крылась не в ногах, не в руках или спине. Она не была физической. «Разве так бывает?»

Зимовье стало для юноши коконом, из которого он должен был вернуться бабочкой – перевоплощённым человеком. По меньшей мере, так казалось ему самому. Преображение далось нелегко, заставило страдать, но Дима был согласен страдать ещё больше, только бы преобразиться до конца, без остатка – до того вольно, просторно ему было на пороге нового мира.

Вчера он хотел бы по щелчку, в одно мгновение вернуться домой, но теперь настроился жить среди охотников до последнего дня их промысла. Его увлекла идея о скрытом противостоянии. Нужно было по мелочам

пакостить дяде. Это могло спасти жизнь соболю или белке. Юноша улыбнулся, чувствуя восторг от такой идеи.

– Что теперь? – после ужина спросил Артёмич.

– Считать он всё-таки не считает.

– Считает, – промолвил Николай Николаевич.

– И как тогда...

– А вот так. Считает лучше тебя. Но чучелу не поверил. Понял, что это не человек. Потому что держать надо было нормально, а не дёргать как мочалку. – Дядя зло покосился на Диму.

– А может, вообще оставить его в покое? – спросил Дима. Он удивился тому, что сказал это спокойно, без волнения. Никогда прежде Дима не позволял себе спорить с дядей.

– Чего? – нахмурился Николай Николаевич.

– Оставить его в покое.

– Кого?

– Ворона.

– Это с какой такой стати?

Дима пожал плечами:

– Он показал, что умный. Значит, заслужил жизнь, разве нет? – Юноша давил ладонями коленки. В волнении приходилось чаще глотать.

– Он заслужил только одно – почётные похороны. Думаешь, я не видел, как ты ружьё нарочно отвёл? Жалко стало, да? Думаешь, я не видел, как ты на соболя? А? Бабьими глазами смотрел! «Он живой, он живой». – Охотник визгливо изобразил голос племянника. – На охоту он приехал. Умник.

– Оставьте ворона в покое. – Дима встал с раскладушки. Он уже не мог, да и не хотел сдерживать дрожь.

Дядя сделал быстрый шаг. Размах. Глухой шлепок. Николай Николаевич ударил племянника ладонью. Дима не успел увернуться. Отшатнувшись, споткнулся и упал. Ладонями упёрся в пол: пыль и щепки.

Проскулил что-то неразборчивое. Дышал часто, тяжело.

Приступ безумия оборвался. Остались боль в щеке и обида.

Этой ночью охотники засыпали взволнованные. Боялись, что очередная задумка будет такой же напрасной, как и предыдущие. Дима слышал разговор охотников. Знал, что они задумали, и понимал, что не сумеет им помешать.

Глава двенадцатая

Завтракали молча.

Юноша вздрогнул, когда Николай Николаевич неожиданно потрепал его за шею:

– Ты это... Зря я на тебя. – Дядя говорил с тихой улыбкой. – Сам знаешь, с этим вороном. В общем, ничего такого не думай. Это всё в запале. Завтра вместе пойдём, и всё будет хорошо. Добудешь своего соболя.

Дима, улыбнувшись, кивнул. Тут же отругал себя и за эту улыбку, и за этот кивок, но дядя никогда прежде не говорил с ним так тепло, никогда не

извинялся перед ним – захотелось чем-то его порадовать, дать повод гордиться. Николай Николаевич был, в общем-то, не таким уж плохим человеком, хотел для Димы только хорошего, просто это хорошее определял на свой лад и воплощал его, как умел. Ударил не от злобы, а потому что растерялся и не знал, как ещё поступить.

Дима повеселел, даже согласился помочь дяде, от него всё равно требовалось не так много.

– Ну как? – спросил Артёмыч.

– Начинаем, – кивнул Николай Николаевич.

Одевшись для промысла, охотники принялись скользить к лесу и тут же возвращаться. Сперва ушёл один Николай Николаевич. Едва он вернулся, ему на смену выбежал Витя, за ним – Дима. Потом Витя возвратился, и по его следам вышел Артёмыч.

Охотники приносили с собой ветви, рубили тонкие деревца, закладывали в котелок снежные комья. Брели санки, бросали их в пути, вновь подбирали. Дима шёл медленно. Его никто не подгонял. Наконец он вовсе остался на опушке, посчитал, что и без того помог охотникам больше, чем хотел. Несмотря на примирение с дядей, он не забыл ни вчерашней ссоры, ни предварявших её размышлений.

Николай Николаевич, уходя к лесу, смотрел на дальние макушки, надеялся разглядеть ворона. Дядя верил, что птица сейчас беспокойно наблюдает за перебежками людей.

Вчера охотники решили запутать её перемещениями.

– Считать он научился, пусть. Будем умнее. На то мы и люди, – говорил Николай Николаевич. Вы по два раза сидели, почему бы и мне не посидеть?

– Сам будешь караулить? – удивился Витя.

Николай Николаевич кивнул.

– Хватит, – прошептал Николай Николаевич. Он уже занял позицию. Притаился в засаде. – Всё. Закрывай дверь, догоняй остальных. А я буду ждать.

Проголина затихла. Охотники отделились от неё. Каждый пошёл по своему путику. Дима, на мгновение растерявшись, последовал за Витей. Дядя не говорил ему, с кем сегодня идти.

Бесшумно падал снег. Ветра не было. Солнце, отражённое в сугробах, тревожило глаза.

Николай Николаевич лежал на койке, смотрел в окно – на вывешенное мясо, на измёрзший трупик ворона, на лиственницу, на встававшую за прогалиной тайгу.

Охотник накрыл себя спальником. Правой рукой, под боком, удерживал заряженное ружьё.

Дом выстывал, на подоконник падали снежинки. Тянуло холодом.

Лежать в одном положении было утомительно, но Николай Николаевич не разрешал себе двигаться. Пил мало. О том, чтобы перекусить или полистать книгу, даже не думал. Только изредка забавлялся, представляя

недоумение ворона, наблюдавшего этим утром, как бегают охотники. «Наверное, подумал, что мы тут с ума посходили. Тьфу ты... Куда там в его головёшку мысли поместятся!

Охотник настойчиво смотрел в окно. Ждал.

Тело уставало. Хотелось двигаться, пить.

Из леса не доносилось ни единого звука. Дом остыл, начал вымерзать. «Хорошо ещё, ветра нет, комнату замело бы. Да. Думал ли, что буду вот так караулить ворона?!

Охотник вспомнил, как в детстве подобрал раненого воронёнка. Как возился с ним, лечил. Называл Карлушей. Прятал его от родителей. Воронёнок был совсем юный, даже до слётка не дорос. Николаю Николаевичу, тогда ещё просто Коле, хотелось непременно выходить его, чтобы увидеть, как он улетит на здоровых крыльях. Тайком обрезал для него кусочки мяса. Если б отец заметил, он бы Колю взбучил так, что спать удалось бы только на животе.

Карлуша поначалу не понимал заботы, не открывал клюв. Коле приходилось насилу разжимать его – цепляя чайной ложкой, пропихивать в самое горло мясные кубики. Потом воронёнок уже сам подходил с раззявленным клювом, требовал кормёжку.

Коля смастерил для него клетку из берёзовых брусков и проволоки, положил туда полотенце и миску с водой – в ней Карлуша купался. Коля держал воронёнка в сарае, а когда родителей не было дома, выпускал его гулять по комнатам. Карлуша переступал вприпрыжку, на ходу вздыбливая хвост и уголки крыльев. Поворачивал к Коле голову боком и смотрел на него синим моргающим глазом.

Коля потом выпустил его в лесу. Тот долго не хотел улетать. Но всё же улетел.

«Где он теперь? Мог и до этих мест добраться. Интересно, я бы узнал его, если б увидел?»

Николай Николаевич беззвучно мусолил губы. Слушал своё дыхание. Развлекал себя подсчётами, какой доход принесёт соболёвка.

«Где тебя носит, чёрт пернатый?»

Пошёл полуденный час.

Если думать о дыхании, оно становится громким, частым.

«Неужели не прилетит?»

Стрелять с койки, в общем-то, удобно. Положить ствол на изголовье и бить наверняка, никакая сошка не понадобится. Но ждать лёжа – удовольствие небольшое. Затекают руки. Устаёт шея.

Николай Николаевич, чтобы отвлечься от ожидания, поднял ружьё. Уложил его на изголовье. Всё это проделал медленно, затаённо. Прицелился. Представил, что ворон уже сидит на верёвке. Готовится клевать чужое мясо. «Бах», – грохнет ружьё. Дробь полетит в окно. Ворона откинет в сторону. Не отозвавшись ни единым звуком, он упадёт.

«Всё!» – Охотник наконец позволит себе громкое слово, после чего рассмеётся.

«Смешно, если это в самом деле Карлуша. Да уж, смешно... Нет, таких чудес не бывает. Мало ли воронов в тайге. Главное, чтоб дробью второе стекло не задело, а то будет веселуха. Не заденет. С такого расстояния не заденет».

Верёвка пошатнулась.

На неё сел ворон.

Закрепившись на худой опоре, он застыл. Потом стал бережно переключать крылья. Вновь успокоился.

Уцепился чёрной трёхпалой лапой с изогнутыми когтями за кусок мяса и принялся поддалбливать его. Изредка оборачивался к тайге.

Это был тот самый ворон, с которым в первый день промысла говорил Дима – крупный, со взгорбленной головой.

«Тот самый...»

– Вот ты и попался, – беззвучно прошептал Николай Николаевич.

Сердце билось часто, утяжелилось дыхание. Охотник забыл о неудобстве в ногах и животе, застыл до дрожи. Небрежность могла быть губительной. Следил за птицей. При этом медленно подводил к ружью левую руку. Боялся, что хрустнут пружины. Кромка спальника уцепилась за пуговицу на рукаве и потянулась следом, пришлось бережно высвободить её.

Охотник дышал коротко и часто.

«Обдурили тебя, дурака. Обдурили. Думал, ты умный? Куда тебе.»

Остановил дыхание.

Глаз напряжён.

Твёрже руку.

Дуло смотрит в оконный проём. Указательный палец изогнулся по липкому от холода спусковому крючку.

«Лови!»

Тишину зимовья разорвал ружейный выстрел, но ещё раньше его окутало странное эхо. Николай Николаевич не сразу понял, что это, а когда понял – вскочил с гневным оскалом.

Глава тринадцатая

Николай Николаевич спрыгнул с койки. Выбежал наружу.

Кто-то спугнул ворона перед самым выстрелом. Крикнул. И сделал это нарочно.

Николай Николаевич подбежал к листовнице. Никого. На снегу – капли крови, несколько перьев. Значит, ранен. Но не убит. «Гадёныш».

Охотник дышал прерывисто. Из открытого рта вырывался густой пар дыхания.

Вскинул ружьё. Ворон! Летит к лесу. Прицелился. Нет. Бесполезно. Уже далеко. Ушёл.

«Чёрт! Чёрт! Чёрт!»

«Кто?!»

Николай Николаевич уже знал, кто, и всё же торопливо оглядывался вокруг, высматривал опушку. Искал силуэт.

«Ну, попадись ты мне».

«Выродок».

«Да где же ты?! Щенок, мелюзга...»

Вздрогнул. Задохнулся злобой. Увидел.

На краю прогалины стоял Дима. Его было не так просто разглядеть. В белой накидке. Затаился у заснеженной ели. Неподвижен. Но это точно был Дима. «Кто же ещё?..»

Николай Николаевич, сплёвывая ругательства, побежал к племяннику. Опадая в глубокий снег, спотыкаясь, приседая на колени, но тут же поднимаясь и не отрывая взгляд от юноши. Охотник боялся, что Дима спрячется, что придётся идти за ним по лесу, но Дима стоял на месте.

Не сделал ни одного шага. Ждал.

Весь дрожал. От холода. И от страха. Но от холода – больше. Он уже давно здесь караулил. Дядя приближался. С каждым шагом он становился выше. Теперь было слышно, как сдавленно ругается Николай Николаевич. Он был уже так близко, что Дима видел пар его дыхания. Между ними оставалось шагов десять. Юноша невольно отпрянул, будто дядя навис над самым лицом – до того острым, тёмным был его взгляд.

– Что?! – Николай Николаевич остановился в пяти шагах от юноши. – Что?!

Дядя кричал тихо, но натужно. Его лицо загрубело, стало бордовым, покрылось пластинами красного сланца. Дима молчал. Не знал, что сказать.

Николай Николаевич дёрнулся. Своими гигантскими, тяжёлыми руками вскинул ружьё.

Юноша подумал, что где-то за его спиной сел ворон и дядя хочет его подстрелить, но тут же понял, что дядя целится в него, в Диму.

В этот момент всё изменилось. Легко, безболезненно, словно всегда было таким. Дима увидел перед собой слабого одинокого человека. Маленького и злого. Куда меньше, чем он сам. И даже меньше, чем ворон. Всё это было глупо, нелепо.

Маленький Николай Николаевич стоял с ружьём. Страх и сомнения исчезли. Дима понял, что был прав во всём, что сделал. Он дрожал, но теперь только от холода. Он был спокоен. Он знал, что победил в этой необъявленной схватке. А дядя знал, что проиграл, и от этого злился ещё больше.

– Ты не выстрелишь, – ровным голосом произнёс Дима. Затем добавил: – Тогда зачем всё это?

– Да ну?!

Дядя крепче сдвинул ружьё.

Простонав, отбросил его на снег и сделал шаг вперёд.

– Ты можешь меня ударить, – Дима смотрел ему в глаза. – Опять.

Николай Николаевич остановился.

– Потом ударить ещё раз. И ещё.

Николай Николаевич поднял кулаки. Свои крохотные, неуклюжие кулаки.

– Но это всё, что ты можешь.

Николай Николаевич сплюнул.

Они так и стояли друг напротив друга. Бесконечно долго. Целую вечность. Застыли, словно вылепленные из снега, и молчали.

– Паскуда ты, – наконец процедил дядя.

Отвернулся. Поднял ружьё. Страхнул с него снег и зашагал назад, к дому.

Дима, помедлив, заскользил вслед за ним.

Николай Николаевич вставил стекло. Снял обывавшиеся куски мяса. Скрутил верёвку. При этом старательно обступал пятна крови и упавшие на снег перья.

Дима тем временем растопил печку. Больше всего ему сейчас хотелось выпить горячего чаю с бергамотом.

Делали всё молча, друг на друга не смотрели.

Покончив с мясом, Николай Николаевич ушёл в лес. Не захотел оставаться наедине с племянником.

Обхватив ладонями горячую кружку с чаем, Дима сел на Витину койку. Улыбнулся. Теперь в доме было так же уютно, как и в лесу. Юноша больше не испытывал отвращения к охотничьему быту. На соболиные шкурки он когда-то смотрел с радостью, затем – с гневом, а теперь – спокойно. Этот покой был особенным. В нём не было и оттенка равнодушия. Он был тёплым, просторным, взывающим к жизни. Диме ещё только предстояло разобраться в своих чувствах, а сейчас он ими наслаждался.

Допив чай, вышел наружу. Погода стояла ясная, чистая. Таёжная прогалина была дном большого солнечного аквариума, заполненного прозрачным золотом. Зажмурившись, Дима смотрел, как в воздухе плывёт алмазная пыль – крохотные снежинки, блестящие на солнце и до того лёгкие, что взлетали от малейшего дуновения ветра.

Глава четырнадцатая

Последние пять дней охоты прошли спокойно.

Каждый занимался своим делом. Как-то само, без обсуждений, решилось, что Дима больше не ходит на промысел. Наутро после того, как в засаде сидел Николай Николаевич, он просто остался в доме, и никто его об этом не спрашивал. Занялся хозяйством: подметал пол, мыл посуду, рубил дрова, топил печь, а к вечеру готовил ужин. Днём уходил в лес. Бродил по округе, искал звериные следы, прислушивался к редким крикам птиц. Ему было хорошо, он не чувствовал себя одиноким.

С дядей он с тех пор не перекинулся и словом. Николай Николаевич тогда вернулся раньше остальных. Принёс подстреленную белку. Артёмич и Витя, увидев следы крови и перья ворона, решили, что их задумка удалась, что птицу удалось-таки обмануть и убить. Артёмич только жалел, что дядя избавился от трупа:

– Нужно было пустить его на приманку. Пусть бы поработал для нас после поганой смерти.

Охотники, смеясь, хвалили Николая Николаевича. Говорили, что теперь у них будет байка на много лет:

– Пять дней засады, чучело, вся эта беготня, чтоб запутать ворона, – перечислял Артёмыч. – И ведь, получается, правда, что он нас считал! Тот ещё прохиндей.

Николай Николаевич не спорил.

Дима тоже молчал. Не мешал охотникам говорить о смерти ворона.

Вечером, когда все готовились ко сну, он подобрал одно из перьев. Решил сохранить его на память обо всём, что здесь случилось.

Утром, когда охотники вышли на промысел, Дима заглянул в схрон, срезал от мяса большой кусок и вывесил его в лесу – для ворона, чтобы извиниться перед ним за рану. Надеялся, что она была несерьёзной.

На следующий день он ушёл ещё дальше в тайгу, прокладывая собственную тропку. Чтобы не заблудиться, старался идти напрямик, не сворачивая, и вернулся по своей же лыжне.

На третий день Дима зашёл так далеко, что встретил соболиные наброды. Он вспомнил всё, чему научился от Артёмыча и Николая Николаевича. С улыбкой осматривал следы, проверял их свежесть, представлял, как и что делал зверёк на этом месте. Затаившись, слушал тихий лес.

Спустившись в пойменную долину, встретил деревья, украшенные ледяными юбками. Ничего подобного он прежде не видел. К первым заморозкам пойма была затоплена. Воду сковал крепкий лёд. Со временем её уровень упал. Ледяная корка растрескалась, осыпалась, но сохранилась рваным жабо на стволах осин. Сверху её покрыли снежные насыпи, и теперь на деревьях, в метре от земли, красовались белоснежные юбки, будто закреплённые кринолином ветвей – почти ровные конусы с бахромой ледяных оборок. Дима назвал эту пойму танцующей. Ещё долго не хотел оттуда уходить, гулял между осин, бережно прикасался к их необычному украшению.

Когда юноша вернулся в лес, его наполнила тёплая радость – на одной из елей он увидел знакомый силуэт. Округлые ушки, покатая спина. Это был соболь. Судя по следам, ведущим к дереву, – самец. Диме удалось отследить его до самого гнезда. Гнездо пряталось в дупле. Недолго думая высыпал в него горсть орехов, украденных у Вити. Дупло, расположенное совсем низко, могло быть необитаемым; возможно, соболь укрылся в нём лишь на время, но Дима был уверен, что его угощение не пропадёт даром.

В зимовье он возвращался с улыбкой. Думал о том, что хочет знать как можно больше о природе, но не для того, чтобы владеть ею. Власть – это всегда одиночество. Знать, чтобы понимать и самому становиться больше, окружая себя чудесным разнообразием жизни.

Дима постепенно примирился с охотниками. «В общем-то, они все не такие плохие. Даже дядя... Обыкновенные люди. Нет, не плохие. Просто у них не было шанса стать хорошими. Жизнь от них спрашивала другое. Им приходилось отвечать. И не было сил о чём-то думать».

Два дня Дима ни с кем не общался, а потом как-то сошёлся с Витей. Играл с ним в карты, слушал его рассказы о тайге. Иногда к ним присоединялся Артёмыч.

– Хорошо бы вернуться сюда весной. Посмотреть, как всё просыпается от зимней спячки, – промолвил юноша.

– Да, оно того стоит, – кивнул Витя.

– Значит, вернусь. Быть может, не сюда, но – в тайгу. Для меня всё только начинается.

– Это точно, – усмехнулся Витя, не совсем понимая, о чём говорит Дима.

Комментарии

Боляток (боляток) – болезненная опухоль, нарыв.

Вожжанка – первосортный беличий мех. Дороже ценятся только синеручка и полностью зимний мех. Степень созревания меха определяется по тому, насколько летний мех сменился зимним.

Кулёмка – ловушка на мелкого зверя, угодив в которую он оказывается раздавлен тяжёлым давящим элементом (например, бревном). Кулёмки бывают низовые (их ставят непосредственно на земле) и верховые (их приподнимают над землёй).

Куржуха – изморозь, полностью покрывающая деревья или другие поверхности (стены, столбы, лавки).

Обыгание – подготовка мяса к хранению. Мясу дают как следует процахнуть: обветривают, сушат на солнце и хорошенько морозят на открытом воздухе.

Ожеледь – ледяной налёт, образующийся из охлажденных капель тумана или дождя, полностью покрывающий ветки и стволы деревьев, а также любые другие поверхности. Или льдистая корка, которая образуется из слоя снега, смёрзшегося после дождя.

Охота – поиск, выслеживание зверей, птиц с целью их умерщвления ради пушнины, мяса и др. продукции, а также для забавы или из спортивного интереса.

Очёп – приспособление для вздергивания пойманного зверька в воздух – неравноплечный рычаг, похожий на колодезный журавль.

Плашка – ловушка на мелкого зверя, угодив в которую он оказывается придавлен доской, поверх которой лежит тяжёлое бревно или другой тяжёлый предмет.

Пойма – место, где угодивший в капкан зверёк отчаянно бился, дёргался и тем самым разворошил всё, до чего смог дотянуться. Не путать с поймой (пойменная долина, пойма реки), которой называют низкую часть речной долины, заливаемую в половодье водой.

Сбежка – общая звериная тропка, в которую стекаются несколько разрозненных тропок. Охотники различают три вида сбежек: гнездовые (возле мест, где живут зверьки), кормовые (возле мест, где зверьки жируют)

и переходные (в местах, где зверёк должен совершать длительные переходы, чтобы найти корм).

Соболёвка, соболевание – охота на соболя.

Тропить – прокладывать тропу через нехоженые заросли или снег, а также выслеживать зверя по следу.

Примечания

2

Торбасы (торбаза) – сапоги из шкуры с мехом наружу.

3

Лабаз – деревянный навес в лесу, который закрепляют высоко между деревьев, чтобы хранить на нём припасы и так уберечь от зверей.

4

«Counter-Strike» – серия популярных компьютерных игр, в которых вы можете выступить за одну из противоборствующих сторон: террористов или контртеррористов.

5

«Headshot!» (произносится «хэдшот») – «выстрел в голову» (англ.). Термин используется в компьютерных играх для обозначения убийства противника одним выстрелом в голову.

6

Заструга – длинная узкая снежная гряда, упирающаяся в какое-либо препятствие (например, дерево или каменную глыбу) с подветренной стороны.

7

Привада – корм, который кладётся в определённое место с целью «привадить» – приучить зверя систематически приходить на данное место.

8

Путик – охотничья тропа, на которой охотник ведёт промысел.

9

Мездра – слой подкожной клетчатки на невыделанной шкуре.

10

Кухта – косматый иней, снег, лежащий на ветвях деревьев.

11

Накроха – мелкие кусочки от приманки, которую охотник заложил в капкан или другую ловушку, а также вообще любая съестная мелочь, крошки, которые могут привлечь зверька.

12

Гайно – гнездо белки, куницы или соболя.

13

Отнорок – ответвление норы, боковая нора с запасным выходом.

14

Посорки – сбитые белкой или другим зверьком во время хода по деревьям частицы коры, хвоя, листва, снег, помогающие лайке отыскивать зверя.

15

Чернотроп – осенние тропки, ещё не покрытые снегом.

16

Окоём – пространство, которое можно окинуть взглядом.

17

Гнус – мелкие летающие кровососущие насекомые, прежде всего комары и мошкара.

Борис Екимов ФЕТИСЫЧ

Время - к полудню, а на дворе - ни свет, ни тьма. В окна глядит сиза наволочь поздней ненастной осени. Целый день светят в домах по хутору электрические огни, разгоняя долгие утренние да вечерние сумерки.

Деятилетний мальчонка Яков, с серьезным прозвищем Фетисыч, обычно уроки готовил в дальней комнате, там, где и спал. Но нынче, скучая, пришел он на кухню. Стол был свободен. Возле него отчим Фетисыча, Федор, маялся с похмелья: то чай заваривал, то наводил в большую кружку иряну - отчаянно кислого "откидного" молока с водой. Тут же топала на крепких ножонках младшая сестра Фетисыча - кудрявая Светланка.

Мальчик пришел с тетрадью и задачником, устроился за столом возле отчима.

- Места не хватило? - спросил его Федор.

- Я вам не буду мешать, - пообещал Фетисыч. - Вроде меня и нет. А за тем столом мне низко. Я наклоняюсь, и осанка у меня портится.

- Чего-чего? - переспросил Федор.

- Осанка. Это учительница говорит. Можешь спросить, если не веришь.

Федор лишь хмыкнул. К причудам пасынка он привык.

Вначале сидели молча. Фетисыч строчил свою арифметику. Федор пил чай и, скучая, глядел в окно, где сеялся мелкий дождь на серые хуторские дома, на раскисшую землю. Сидели молча. Малая Светланка таскала из ящика за игрушкой игрушку: пластмассовую собаку, мячик, куклу, крокодила - и вручала отцу с коротким: "На!" Федор послушно брал и складывал это добро на столе. Горка росла.

Фетисыч скоро от уроков отвлекся.

- Хочу тебя обрадовать, - для начала сказал он отчиму. - Ты же вчера был пьяный, не знаешь. А я пятерки получил по русскому и по арифметике. По русскому - одну, а по арифметике - две.

Федор лишь вздохнул.

- Ты не думай, это не просто, - продолжал Фетисыч. - Одну пятерку по арифметике - за домашнее задание, а другую - по новой теме. Я ее понял, к доске вышел и решил.

- Заткнись, - остановил его Федор.

Фетисыч смолк. Снова повисла тишина. Светланка, мягко топая, таскала и таскала игрушки отцу.

Они были похожи, родные дочь и отец: кудрявые волосы - шапкой, черты лица мелковатые, но приятные. Мальчишка же, Яков, что по характеру, что по стати был для Федора кровью чужой. Фетисычем его звали за разговорчивость, за стариковскую рассудительность, которая приходилась то кстати, а то и совсем наоборот. Как теперь, например, когда Федору с похмелья и без разговоров свет был не мил. Фетисыч понимал это, даже сочувствовал. Углядев, как отчим косит глазами на жестяную коробку с табаком-самосадам и морщится, он сказал:

- Хочу тебе предложить. Ты вот болеешь сейчас с похмелья. А ты наберись силы воли и брось сразу курить. Помучаешься, зато потом тебе будет хорошо.

- Это ты сам придумал? - спросил Федор.

- Конечно.

- Значит, дурак.

... У Фетисыча уроки были сделаны, можно и в школу отправляться. Хоть и рановато, но веселее там.

Уже пошел декабрь, но долгая поздняя осень, словно грязная злая старуха, бродила по хуторам. Низкие набухшие тучи, морося, ползли и ползли, а то и висели над хутором, цепляясь сизым провисшим брюхом за маковки старых груш. И тихо было на хуторе, пустынно: ни людей, ни машин. Одно дело - зябкая слякотная осень; другое - работы нет. Свиной давно на мясокомбинат сдали, овец раньше продали, коров один гурт неполный остался. Тут еще плотницкую да кузницу на зиму закрыли. А дороги развезло, и хлеб печеный не возят. То хоть возле кузни да плотницкой с утра народ толочся, на бригадный наряд в контору ходили, потом у магазина собирались бабы да старики, ожидая хлеб. Нынче все по домам сидят.

От дома Фетисыча видна была и школа. Она лежала на въезде, вначале длинной, через весь хутор, улицы, по которой стояли бывшие клуб, медпункт, детский садик, почта, баня да магазины. Напрямую, дворами да проулками, до школы можно было добраться в два счета. Но обычно Фетисыч не спешил, выходя на улицу главную, мимо подворья многодетного Капустина, где день и ночь мотались на веревке детские штаны да рубашки. Фетисыч свистел, заложив пальцы в рот. И тут же во всех окошках появлялись расплющенные о стекло ребячьи носы. Шестеро детей было у Капустина. Старшей - девять лет, ребятам-двойняшкам - по восемь, дальше - вовсе горох. Еще один свист раздавался возле дома Башелуковых, дл первоклассницы Маринки с прозвищем Кроха. И все. Башелуковы жили на углу. Отсюда лежала по главной улице прямая дорога до самой школы.

Хуторская школа - длинное дощатое здание на высоком кирпичном фундаменте - когда-то была восьмилеткой. Директор, завуч, завхоз, учителя... Школьники с трех хуторов сходились. Ныне старая учительница Мари Петровна пестала, кроме главного своего ученика Якова, трех Капустиных да

Маринку Башелукову. В просторной школе топили одну печку на две комнаты: класс и еще одну рядом, под названием "спортзал", со шведской стенкой, трапедией да перекладной. Уроки начинали по-своему, к полудню. Некуда было спешить.

Первым приходил Яков. Забирая ключ у технички, молоденькой тети Вари, которая напротив школы жила, он первым делом спрашивал:

- Натопила?

- Натопила, натопила... Иди проверяй, завхоз.

Яков проверил печку и, усевшись за учительский стол, стал ждать. Голоса Капустиных, как только вываливала орава из дома, звенели без умолку, приближаясь. Школьников у Капустиных было трое, но обычно прихватывали довеска - шестилетнего Вовика, который ревмя ревел, в школу просясь. А коли не брали его, то убежал из дому и приходил самостоятельно.

Шумно прибывали Капустины. Школа оживала. Вслед за ними, опаздывая, медленно поспешала первоклассница Маринка Башелукова - махонькая девчушка с большим красным ранцем за плечами. По теплому времени старые люди выходили глядеть на нее, когда она горделиво несла через хутор белые пышные банты на аккуратной головке. Глядели и вздыхали, вспоминая былое.

Так было и нынче. Яков через отворенную форточку приказывал:

- Сапоги чисто промывайте! Не тягайте грязь!

Собрались. Расселись за партами. Учительница Мария Петровна запаздывала. Как всегда в таких случаях, Яков открыл журнал посещаемости.

- Башелукова.

- Здесь, - тонко пискнула девчушка, поднимаясь. Она всегда была с белыми бантами в косичках, с белым отложным воротничком - словно городская первоклассница.

- Капустина.

- Здесь.

- Капустин Петр... Капустин Андрей.

- И я здесь, - отметил Капустин-младший, довесок.

В журнал его не положено было записывать, а хотелось - как все.

Марии Петровны не было. Яков решил сбегать к ней. Но прежде, чтобы не теряли зря времени, он дал задания: кому примеры, кому упражнения. А малышу Капустину вручил лист бумаги и велел рисовать. Все это было для Якова делом привычным. Старая учительница порой хворала, порой уезжала к дочери в райцентр, оставляя надежного помощника - Фетисыча. Он старался.

А жила учительница недалеко, в старом домишке, в каком жизнь провела. Яков отворил калитку и сразу почуял неладное: настежь были открыты все двери - коридорная, кухонная, сарая.

- Мария Петровна! - заглядывая в дом, позвал Яков.

В доме горел свет. Но никто не ответил.

Учительница была мертва ... Яков бросился вон.

Потом, когда к учительнице поспешили взрослые, он пошел к школе. Он чувствовал, что озяб. Пробирала дрожь. У крыльца, отмывая в корыте грязные сапоги, он решил, что о смерти учительницы в классе говорить сейчас не станет. "Про уроки забудут, - подумалось ему. - День пропал, его не вернешь", - повторил он слова учительницы. И еще что-то, более важное, останавливало его: он не до конца поверил в смерть, какая-то последняя надежда теплилась - может, еще оживет.

В классной комнате было тепло, зелено от цветов и все - за партами, даже Капустин-младший.

Обычно, когда учительница, уезжая, оставляла Якова старшим, ребятишкам под началом его приходилось туго. Старался Фетисыч. Лишний раз не скажи, перемены - короче, точно в срок. Но нынче в тягость была чужая ноша.

Братья Капустины примеры по математике решили, и Яков добавил им еще одно упражнение. Маринка Башелукова, Кроха, тихо окликнула:

- Яша... У меня кончилось.

- Что у тебя кончилось?

- Букварь.

Яков подошел к ней. Все верно. Мария Петровна твердый знак с ней прошла. Хитрые слова "сел" и "съел". И как это бывало ранее: сначала - с ним, в прошлом году - с братьями Капустиными, - Яков сказал громко, повторяя слова учительницы:

- Давайте все вместе поздравим Марину. Она закончила свою первую книжку-букварь. Молодец, Кроха. Поздравляем тебя! Теперь ты человек грамотный.

- Ура-а!! - вылетели из-за парт братья Капустины - невеликие, крепенькие, горластые.

- Ура! - поддержал их младший Капустин.

Снова пошли уроки. Яков словно забыл о смерти учительницы: непросто было глядеть за ребятами, давать им задания, объяснять да и свое делать.

А за окном тянулась поздняя осень. Дождь временами переставал, а потом снова сеялся, и тогда затягивало серой невидьей высокий курган за хутором, крутую дорогу через него. Лежала под окнами пустая улица, за ней - вовсе пустое поле на двадцать пять верст до центральной усадьбы, станицы Ендовской. А в край другой, через займище, десять километров до богатого хутора Алешкина, который при асфальтовой дороге стоял. Будто и рядом хутор Алешкин, но брызнет дождь - на тракторе не проедешь, зимой в снежных переметах утонешь. А тут еще объявились ненашенские, с рыжим подпалом, волки, вроде из Чечни прибежали. Там стреляют, вот они и подались, где потише.

И когда неделю спустя Яков надумал идти в хутор Алешкин, мать пугала его:

- По такой погоде... Черти тебя поджигают. Тем более - волки. Чеченские... Враз голову отхватят.

Яков стоял на своем:

- Пойду. Десять километров. Обернусь к обеду. Там наша Галина Федоровна, она всех знает, она найдет нам учительницу. А то так и будем сидеть.

От хутора, мимо фермы, напрямую до самого займищного леса Яков продвигался вприскок: пробежит - и пойдет потише, снова пробежит - и опять отдыхает на ходу. Нужно было скорей добраться в Алешкин, поговорить и успеть вернуться в свою школу, к ребятам, которые будут ждать его.

Хоть и умерла Мария Петровна, но каждый день в школу сходились. Выбирался Яков из дома, свистел возле Капустиных и Башелуковых. Техничка тетя Варя топила печь. И уроки шли, как и раньше: по расписанию, с переменами. "Чем по домам сидеть, лучше в школе, - так Яков решил. - А то пропустим, нам же и догонять". Все было как прежде, лишь без Марии Петровны. И нужно было искать ей замену.

* * *

Школа в Алешкине стояла посреди хутора, на речном берегу. Поднялся на бугор - и вот она: кирпичная, с высоким строением спортзала. При входе - раздевалка, а возле нее сидит уборщица и платок пуховый вяжет.

- Ты куда? - сразу признала она чужого.

- К Галине Федоровне.

- Она на уроке. Лишь начался урок, - сказала уборщица и воззрилась на сапоги пришедшего.

Коридор алешкинской школы был просторный и нарядный: много зелени, на стенах большие стенды с фотографиями. Но ждать было не с руки. Урок - чуть не час, а дом Галины Федоровны - рядом. Туда Яков и подался.

Старая баба Ганя признала его и встретила, как родного:

- Моя сынушка... Откель? Весь промок. Либо пешки?

- Пешком, баба Ганя, пешком.

Баба Ганя не изменилась, той же живостью светили за стеклами очков глаза.

- Ты либо с матерью пришел, в магазин?

- Один, баба Ганя. Мне Галина Федоровна нужна.

- Скоро надойдет она. Кончится урок, надойдет. Раздевайся. Сушись. Грейся у печки. А я скотине задам, будем завтракать.

- Я помогу, - сказал Яков и, не дожидаясь согласия, снял с вешалки рабочую телогрейку. - Ты лишь говори, баба Ганя, где у вас чего...

- Моя сынушка, да ты прямо хозяин... - поспешая за молодым помощником, нахваливала баба Ганя.

Якову же домашние заботы были в привычку: курам - зерна, корове да козам - сена, свиньям - запаренного корма. Тем более что подворье директорши было устроено: не плетневые катухи, а кирпичные, под шифером стойла в один ряд. Вода - из крана. Сенник, закрома, скотья кухн - все рядом.

И не лужи да грязь на базу, а бетонные дорожки. Так что труды были невеликие. Управились скоро.

К той поре поспела и директорша школы, Галина Федоровна. Услыхав о смерти учительницы, она даже всплакнула:

- Господи... Как мы ее любили... Так вас и пестала до последнего. А схоронили где?

- В райцентре, дочка забрала, - сказал Яков и повернул на свое, ради чего и шел: - Она померла, а мы остались ни с чем. Пятеро учеников: трое Капустиных, Башелукова, я. А учить нас некому. Может, вы нам поможете, найдете учительницу?

Завтракали и слушали Якова.

- Как она померла, сообщили в сельсовет, оттуда в районо. Там велели перевести нас в Ендовку, на центральную усадьбу. Мы и поехали туда с дядей Витей Капустиным. У него трое в школу ходят, и Вовке на тот год идти. Поехали. Трактором едва добрались. Думали в интернат устроиться. Там большой интернат, двухэтажный. А его закрыли.

- Сейчас их везде закрывают, - вздохнула Галина Федоровна.

- Закрыли и там. В школу нас берут, пожалуйста. А как добираться? Колхоз не будет возить. Горючего нет, и вся техника поломана. Говорят, становитесь по квартирам. А квартиры в Ендовке - с ума сойти. Сдурели хозяйки. По сто тысяч требуют. Капустин как услышал, за голову схватился. Он где такие деньги возьмет? Тем более за троих. Опупеть можно. У него зарплата - сто тысяч не выходит. И тех не дают с лета. Плюнул. Пусть, говорит, дома сидят. А Маринка Башелукова, та и вовсе - кроха. Куда ее отпустят родители? Она у них одна при двух бабках. Те сразу с ума сойдут. Вот и все... И как хочешь... Учительницу бы нам найти, - попросил он.

Галина Федоровна, оставив еду, слушала. Она была еще молодая, но полная, при золотых очках, коса на голове короной - настоящая директорша.

Возле дома затарахтел мотоцикл и смолк.

- Отец наш приехал, - объявила Галина Федоровна. - Завтракать.

- Галина! - раздался из коридора голос. - Я пойду со скотиной управлюсь. Ты не давала им?

- Нет.

- Управились мы, управились в четыре руки с помощником, - горделиво сообщила баба Ганя. - Накормили и напоили.

- Молодцы! Кто у тебя в помощниках?

Муж у Галины Федоровны был тоже нестарый, но при черной бороде - по новой казачьей моде.

- Это чей такой? Либо землячок?

- Угадал.

- Спасибо, земляк. Мне легче жить.

Отзавтракали. Хозяин присел на корточках возле устья печки, подымить. Якову сварили напоследок кружку пахучего какао, печенья да пряников положили.

- Мария Петровна умерла, - сказала мужу хозяйка. - Школу у них закрывают. Нет учителя. А у нас в Филоновской никого нет? - задумчиво спросила она не столько мужа, сколько себя. - Татьяна Петровна на пенсии, она не пойдет. Надо из молодых. Тамара Максимова в Михайловке в педучилище, на каком курсе? Ее мать как-то спрашивала меня про место. Надо поговорить с ней. У них отца нет, сестренка младшая. На заочное можно перейти и работать.

- Не могла наша Петровна чуток потерпеть, - со вздохом попенял Яков. - Конечно, старая. Но хоть бы до зимних каникул доучила. А не... Неделя прошла. Так и месяц пройдет, и зима. На второй год оставаться?

Так искренне было это мальчишечье, детское огорчение, что баба Ганя пожалела:

- А ты живи у нас. Школа - рядом. И мне будет с кем погутарить.

Предложение было неожиданным. Яков вскинулся и поглядел на Галину Федоровну и мужа ее.

- Живи, - подтвердил приглашение хозяин. - Ему понравился этот мальчишка. Свои сыновья этой осенью в город уехали: старший - в институт, младший - в техникум. Стало в доме непривычно пусто. - Живи, - повторил он.

Мальчик не мог ничего ответить, лишь глядел на Галину Федоровну, понимая, что последнее слово за ней. Она поняла его, сказала мягко:

- Живи. Комната свободная есть. С матерью я поговорю.

У Якова сердчишко колыхнулось от неожиданной радости. Поселиться в доме директорши, учиться в настоящей школе со спортзалом, где и зимой в футбол играют. А уж народу там... Школа своя вдруг увиделась в настоящем свете: пустой дряхлый дом со ржавою крышею, один-разъединный класс, Капустины да Кроха. Алешкинская школа - дворец. А дом Галины Федоровны... Это не пьяный да похмельный отчим да мать с ругней: "Замолчи... Прикуси длинный язык..." Здесь - книг полная комната, все стены в полках.

- Я обещал к обеду вернуться, - сказал Яков. - Мамка ждет.

По-прежнему моросило. В займищном голом лесу было тихо. Даже воронье убралось к жилью человеческого, к теплу.

Яков по сторонам не глядел. Он на хутор спешил, где ждали его.

Через дом родной он промчался, не успев похвалиться. Мать с отчимом на базах управлялись со скотиной. Ухватив сумку, Яков подался в школу, гадая: как там без него? И если в долгом пути на хутор ничто не омрачало нежданно свалившегося на него счастья, то теперь пришло на ум иное: он уйдет, а Капустины с Крохой останутся. Что будет с ними? И что со школой? Радость гасла. А уж о том, чтобы в школе похвалиться, и вовсе не стоило думать. Молчать надо было до поры. Но до какой?

В классе все были на месте и, будто за делом, ждали, что скажет он.

- С Галиной Федоровной повидался, - доложил Яков. - Обещала найти учительницу. Есть у нее на примете. - И разом перешел к учебным делам: - Кто должен заполнять настенный календарь природы? Капустины, ваша

обязанность? Почему не заполнили? И разом давайте тетрадки по природоведению. Задано было: живая и неживая природа зимой. Жизнь домашних животных, жизнь диких животных, труд людей... Все вопросы страницы пятидесятой и пятьдесят первой. У Маринки погляжу домашнее - и вас буду проверять и спрашивать. Надо учиться, а не сидеть зря. Придет новая учительница, а все отстали. А цветы не политы, - попенял он старшей Маринке. - Совсем свяли. Вон в алешкинской школе сколько цветов... Они не забывают.

Ворчливым упрекам своего старшего ребята даже обрадовались. Без Якова было пусто. А теперь по-прежнему все пошло: класс, уроки, строгий Фетисыч, словно смерть учительницы ничего не изменила в их жизни.

Но гость редкий, неожиданный - колхозный хуторской бригадир Каледин - уже обмывал возле крыльца сапоги. Из класса его увидели - и стали ждать.

Наконец бригадир пришел в класс. Навстречу ему поднялись все разом.

- Сидите, сидите, - махнул он рукой и похвалил: - Тепло у вас, хорошо.

Цветки цветут.

Он снял долгополый намокший плащ, телогрейку, оставшись в пуховом, домашней вязки, свитере. Яков было пошел от учительского стола к своей парте, но бригадир остановил его:

- Сиди. Ты же теперь за старшего. Учись? - спросил он.

- Учимся, - ответили нестройно.

Бригадир был человеком суровым, немногословным, его в хуторе боялись.

- А может, вам у Башелуковых собираться? - спросил он. - Хата большая, теплая, и они не против.

У Якова перехватило дыхание.

- А библиотека? - бледнея от волнения, показал он на шкафы с книгами. - А наглядные пособия? А уроки физкультуры? Комиссия какая приедет, и будем не числиться. А беженцы, какие места ищут? Подъехали. Есть школа? Вот она, - убеждал он бригадира. - Значит, можно жить. А увидят замок - и развернутся.

- Верно, верно... - успокоил Якова бригадир. - Это я так, попытал... Будет Варя топить, приглядать. Дров напилим. А там учительницу найдем.

Отогревшись, он стал одеваться. На прощание Якову руку пожал.

- Держись, Фетисыч. Учительницу найдем. А пока на тебя надежда.

Вернувшись домой, Яков вдруг понял, что день кончается, а все осталось как прежде: ни матери не сказал, ни ребятам, что уходит в Алешкин. С матерью было легче. А вот с ребятами...

Дома все было как обычно: тихая Светланка, не пьяный, но крепко выпивший отчим, потом с фермы вернулась мать.

У Якова позади лежал долгий день, и его морило, тянуло ко сну.

Он уснул и проснулся уже ночью, во тьме. Словно ударило его. Он видел во сне день прошедший: школа в Алешкине, директорша Галина Федоровна, бородатый муж ее, баба Ганя. Вроде виделось доброе, а проснулся в испуге. Они ведь ждать его будут, а он не придет. Прийти он не

мог, потому что нельзя было оставить свою школу. Тогда там все кончится, рухнет. Не будет уроков, повесят замок, цветы померзнут. А через неделю - это Яков знал точно - школу разгромят. Сначала вынут стекла. Говорят, они дорогие. Потом снимут двери, окна выдерут. И пойдут курочить. Первое время - по ночам, таясь. А потом среди бела дня, наперегонки, кто быстрее успеет. К Новому году от школы останется лишь пустая коробка с черными проемами. Так растаскивали клуб, детский садик, медпункт. Так будет и со школой.

Без него все пойдет прахом. Ни Марина Капустина, ни братья ее, ни тем более Кроха без Якова ничего не смогут. Лишь он знает, как тетради проверять, ставить отметки. Его Мария Петровна учила.

То, что прежде было гордостью мальчика, стало вдруг горем. Потому что нельзя было уйти в Алешкин, к Галине Федоровне. И от бессилья что-либо изменить Яков заплакал. Он плакал редко. "Бычок упористый..." - говорила мать. А теперь хлынули слезы, и казалось, не будет им конца. Горячие, волна за волной, они накатывались из груди. И мальчик плакал и плакал, пока не уснул.

Снова снилась ему школа, теперь своя, но такая похожая на алешкинскую: с просторными светлыми коридорами, с плетучей зеленью по стенам и потолку, со стеклянной оранжереей. И будто он, Яков, вел по школе и показывал ее своей старой учительнице, Марии Петровне. Учительница ахала, удивлялась и хвалила Якова: "Молодец..." А вокруг шумела детвора. Много ребят. И за стенами школы, на хуторской улице, былолюдно. Просто кипел народ, как на базаре. Голова от людей кружилась. А Мария Петровна все хвалила Якова и хвалила: "Молодец, молодец..." - и гладила его по голове горячей ладонью. Было сладко на душе от этих похвал, слезы подступали. И Яков не сдержался, заплакал. А горячая ладонь гладила голову мальчика и лицо, вытирала слезы, и добрый голос шептал и шептал: "Ну чего ты, сынок... Ну чего ты плачешь... Ну проснись, не плачь..." И горячие слезы сушили слезную влагу.

Это мать, сердцем почуяв тревогу и боль, услышала и пришла, сидела на краю постели сына и не хотела резко будить его, боясь испугать, и шептала:

- Я здесь, мой сынок... Не плачь... Ну не плачь...

А за окном менялась погода. С вечера прежде обычного смерклось. Дождь пошел сильнее, гулко барабанил по крышам. Но с вечера же явственно потянул холодный северный ветер. И вдруг в ночи застучала по окнам ледяная крупа. Не та снежная, белая, словно пшено. А ледяная склянь. Это шел дождь и замерзал на лету. Секло и секло по окнам, словно шрапнелью. А потом пошел густой снег. К утру насыпало его по колено.

К рассвету прояснилось. Заря вставала уже зимняя, розовая. Хутор лежал вовсе тихий, в снегу, как в плену. Несмелые печные дымы поднимались к небу. Один, другой... За ними - третий. Хутор был живой. Он лежал одиноко на белом просторе земли, среди полей и полей.

Роберт Рождественский

На Земле, безжалостно маленькой...

На Земле
безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую...
И однажды —
прекрасным утром —
постучалась к нему в окошко
небольшая,
казалось,
война...
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую —
по размерам —
шинель.

...А когда он упал —
некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле
не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный рост!

1969 г.

Александр Твардовский

Я убит подо Ржевом

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрышки.

И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.

Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;

Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;

Где травинку к травинке
Речка травы прядет, —
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.

Летом горького года
Я убит. Для меня —
Ни известий, ни сводок
После этого дня.

Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.

**Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?**

Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.

Неужели до осени
Был за ним уже Дон
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?

Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому — как?

**И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена.**

Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.

Мы — что кочка, что камень,
Даже глуше, темней.
Наша вечная память —
Кто завидует ей?

Нашим прахом по праву
Овладел чернозем.
Наша вечная слава —
Невеселый резон.

Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые.
Нам — отрада одна:

Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать.

**Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.**

Это грозное право
Нам навеки дано, —
И за нами оно —
Это горькое право.

Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.

Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.

Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.

И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.

Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.

Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить.

Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.

**И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?**

И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!

**Может быть... Да исполнится
Слово клятвы святой! —
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.**

Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!

Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, —

О, товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.

В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.

Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.

Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос ваш мыслимый.

Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, —
Были мы наравне.

И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,

Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.

Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?

В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?

Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу...
Я вам жизнь завещаю, —
Что я больше могу?

**Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.**

**Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой.**

**И беречь ее свято,
Братья, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.**

1946 г.





Александр Кушнер

*Времена не выбирают
В них живут и умирают
Большой пошлости на свете
Нет, чем кланяться и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.*

*Что ни век, то век железный.
Нь дымится сад чудесный,
Блещет тучка; я в пять лет
Должен был отскарлатины
Умереть, живи в невинный
Век, в котором горя нет*

*Ты себя в счастливицы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?*

*Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутюме?*

*Что ни век, то век железный.
Нь дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время - это испытанье.
Не завидуи никому.*

*Крепко тесное объятие.
Время - кожа, а не платье.
Глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки,
С нас - его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.*

Милосердие

И. А. Ильин. «Рождественское письмо».

Рождественское письмо (Иван Ильин)

Это было несколько лет тому назад. Всё собирались праздновать Рождество Христово, готовили елку и подарки. А я был одинок в чужой стране, ни семьи, ни друга; и мне казалось, что я покинут и забыт всеми людьми. Вокруг была пустота и не было любви: дальний город, чужие люди, чёрствы́е сердца. И вот в тоске и унынии я вспомнил о пачке старых писем, которую мне удалось сберечь через всё испытания наших чёрных дней. Я достал её из чемодана и нашёл это письмо.

Это было письмо моей покойной матери, написанное двадцать семь лет тому назад. Какое счастье, что я вспомнил о нём! Пересказать его невозможно, его надо привести целиком.

«Дорогое дитя моё, Николенька. Ты жалуешься мне на своё одиночество, и если бы ты только знал, как грустно и больно мне от твоих слов. С какой радостью я бы приехала к тебе и убедила бы тебя, что ты не одинок и не можешь быть одиноким. Но ты знаешь, я не могу покинуть папу, он очень страдает, и мой уход может понадобиться ему каждую минуту. А тебе надо готовиться к экзаменам и кончать университет. Ну, дай я хоть расскажу тебе, почему я никогда не чувствую одиночество.

Видишь ли ты, человек одинок тогда, когда он никого не любит. Потому что любовь вроде нити, привязывающей нас к любимому человеку. Так ведь мы и букет делаем. Люди — это цветы, а цветы в букете не могут быть одинокими. И если только цветок распухнет как следует и начнёт благоухать, садовник и возьмёт его в букет.

Так и с нами, людьми. Кто любит, у того сердце цветёт и благоухает; и он дарит свою любовь совсем так, как цветок свой запах. **Но тогда он и не одинок, потому что сердце его у того, кого он любит: он думает о нём, заботится о нём, радуется его радостью и страдает его страданиями. У него и времени нет, чтобы почувствовать себя одиноким или размышлять о том, одинок он или нет. В любви человек забывает себя; он живёт с другими, он живёт в других. А это и есть счастье.**

Я уж вижу твои спрашивающие голубые глаза и слышу твоё тихое возражение, что ведь это только пол-счастья, что целое счастье не в том только, чтобы любить, но и в том, чтобы тебя любили. Но тут есть маленькая тайна, которую я тебе на ушко скажу: кто действительно любит, тот не спрашивает и не скупится. **Нельзя постоянно рассчитывать и выпрашивать: а что мне принесёт моя любовь? а ждёт ли меня взаимность? а может быть, я люблю больше, а меня любят меньше? да и стоит ли мне отдаваться этой любви?..** Всё это неверно и ненужно; всё это означает, что любви ещё нету (не родилась) или уже нету (умерла). Это осторожное примеривание и взвешивание прерывает живую струю любви, текущую из сердца, и задерживает её. Человек, который меряет и вешает, не любит. Тогда вокруг него образуется пустота, не проникнутая и не согретая лучами его сердца, и другие люди тотчас же это чувствуют. Они чувствуют, что вокруг него пусто, холодно и жёстко, отвертываются от него и не ждут от него тепла. Это его ещё более расхолаживает, и вот он сидит в полном одиночестве, обойдённый и несчастный...

Нет, мой милый, надо, чтобы любовь свободно струилась из сердца, и не надо тревожиться о взаимности. Надо будить людей своей любовью, надо любить их и этим звать их к любви. Любить — это не полсчастья, а целое счастье. Только признай это, и начнутся вокруг тебя чудеса. Отдайся потоку своего сердца, отпусти свою любовь на свободу, пусть лучи её светят и греют во все стороны. Тогда ты скоро почувствуешь, что к тебе отовсюду текут струи ответной любви. Почему? Потому что твоя непосредственная, непреднамеренная доброта, твоя непрерывная и безкорыстная любовь будет незаметно вызывать в людях доброту и любовь.

И тогда ты испытаешь этот ответный, обратный поток не как «полное счастье», которого ты требовал и добивался, а как незаслуженное земное блаженство, в котором твоё сердце будет цвести и радоваться.

Николенька, дитя моё. Подумай об этом и вспомни мои слова, как только ты почувствуешь себя опять одиноким. Особенно тогда, когда меня не будет на земле. И будь спокоен и благонадежен: потому что Господь — наш садовник, а наши сердца — цветы в Его саду.

Мы оба нежно обнимаем тебя, папа и я.

Твоя мама».

Спасибо тебе, мама! Спасибо тебе за любовь и за утешение. Знаешь, я всегда дочитываю твоё письмо со слезами на глазах. И тогда, только я дочитал его, как ударили к рождественской всеобщей. О, незаслуженное земное блаженство!

В метро передо мною дама с ребенком.

Ребенку, должно быть, год с небольшим. Он круглый, толстый, одет в мохнатую шубку, теплые гетры. Совсем катыш.

В правой руке у него замусленный сухарь, которым он не сразу попадает в рот — рука-то короткая, рукав толстый, не согнешь. Тычется сухарь, мажет по носу, по щекам, словно сам по себе, а катыш кряхтит и ловит его ртом.

Но главное дело катыша — не сухарь. Главное дело — подняться на ноги. Он сопит, кряхтит и молча борется с рукою матери, которая, не глядя, удерживает катыша на месте. Но эта-то рука и сослужила ему службу. Он уцепился за нее повыше, засопел, закряхтел и вдруг поднялся на своих толстых гетрах. Ухватился за спинку скамьи и устоял.

Сидевшая на другой стороне дама увидела около своего плеча его руку, крошечную, с ямками, с очень розовыми пальцами с ноготками тонкими, точно слюдяными. Посмотрела, да вдруг и чмокнула.

Катыш рассвирепел. Весь задрожав от негодования, с грозным ревом поднял он по-звериному свою мягкую лапу и неизвестно, что было бы с несчастной дамой, если бы катыш не потерял равновесия. Но он закачался и шлепнулся на сиденье.

Посидел, успокоился и призадумался, глаза заморгали, нос засопел — ясно, что человек думает. Потом усталился в одну точку, точно запечалился. Лизнул было свой сухарь. Нет, не то. Нет и от сухаря радости. Испорчено настроение и баста. И вдруг чуть-чуть покраснел, мордочка стала виноватая и добрая. Закряхтел, уцепился, полез, встал, смотрит на даму, а сам двигает к ней руку поближе. Дама вытянула губы, поцеловала. А он засопел и другую руку, что с сухарем, тоже тянет. — Господи, неужто угощать собрался?

Так и есть, тычет ей замусленный свой сухарь — лучшее свое сокровище — прямо в щеку, а лицо уже совсем виноватое, совсем доброе. И все на этом лице: понял, что обидел, пожалел, и жить с этой жалостью не мог, и пошел, и все свое отдал, и счастлив.

Где-то видела я уже вот этот самый момент... Где?

(1) В маленьком садике при скверном ресторанчике маленького и скверного Туапсе завтракали мы в тугие, голодные времена — предбеженские.

(2) Тощий ресторанный пес бродил между столиками, стучал хвостом по голым ребрам и «ни от какой работы не отказывался» — ел даже огрызки от соленых огурцов. (3) Совсем, видно, пропадать приходится.

(4) И вдруг в другом углу садика появился другой пес. (5) Видно, только что прошмыгнул в калитку.

(6) Остановился у столика, за которым старик пилил ножом какую-то жареную кожу, остановился и присел. (7) И по всей позе видно было, что он сам сознает, как дело его незаконно.

(8) Старик взглянул на него и бросил ему через голову кость. (9) Не успел пес лязгнуть зубами, как в один прыжок тот другой, ресторанный и

законный, был уже на нем. (10) Пыль, визг, вихрь, шерсть, хвосты, зубы. (11) Через секунду уже на другой стороне улицы тихое повизгивание, и уныло поджатый хвост медленно скрывается в воротах. (12) Победитель вернулся, полизал себе бок, разыскал незаконную кость, погрыз, задумался, опять погрыз, вяло, без жизни, без темперамента. (13) А ведь это все-таки была ко-о-о-сть. (14) Ведь не огуречный огрызок, а ко-о-о-сть. (15) Да еще, поди, с мясцом.

(16) Задумался чего-то пес. (17) Морду отвернул, заскулил. (18) Неужто жалеет того, что прогнал? (19) Отряхнулся, подошел к столу, минутку постоял, да и отошел. (20) И работа, значит, на ум не идет. (21) Лег у стены. (22) Печальный, совсем расстроился. (23) Вдруг фыркнул носом, вскочил и деловито, трусцой побежал через улицу.

(24) Через минуту пес, уже спокойный, совсем другой походкой вернулся в ресторан. (25) Морда у него была слегка смущенная, но очень добрая и даже веселая.

(26) На почтительном расстоянии следовал за ним тот – нарушитель прав, злодей и преступник. (27) Злодей уже не боялся, но явно старался держать себя скромно. (28) Разыскал историческую кость, забился с нею скромно под забор, явно подчеркивая, что к клиентам соваться не будет.

(29) Победитель рыскал без толку между столиками и так вилял хвостом, с такою силою, что даже весь набок поворачивался. (30) Получил раза два здорового тумака, но даже не визгнул, так был счастлив.

(По Н.А. Тэффи. «Два»)

К. Паустовский. «Повесть о жизни» (фрагмент)

Сейчас я не могу припомнить, сколько времени длились эти непрерывные перевязки и операции. Для особенно сложных операций поезд задерживали на станциях.

Помню только, что я то зажигал яркие электрические лампы (в вагоне был аккумулятор), то гасил их, потому что за окнами, оказывается, уже светило солнце. Но светило оно недолго, как мне казалось, всего какой-нибудь час, и я снова зажигал белые слепящие лампы.

Однажды Покровский взял меня за руку, отвел к окну и заставил выпить стакан бурой и липкой жидкости. – Держитесь, – сказал он. – Скоро конец. Нельзя ни одного человека сменить. И я держался, только время от времени менял окровавленный халат.

А раненые все шли и шли. Мы перестали различать их лица.

...

Не помню, на рассвете какого дня мы пришли в Люблин. Там нас ждали три пустых санитарных поезда. Они забрали наших раненых и ушли с ними в Россию, а мы остались в Люблине. Нам дали три дня отдыха.

Я вышел на станционные пути к водокачке и долго мылся под краном под сильно пенистой струей. Я мылся долго потому, что, очевидно, дремал

во время мытья. Мимолетный этот сон был полон запаха воды и марсельского мыла.

Потом я переоделся и вышел на станцию. Около вокзала стенами стояла сирень. На клумбах склонялись какие-то цветы в своих лиловых и белых ситцевых платьях.

Я сел на деревянную скамью, прислонился к спинке и, засыпая, смотрел на близкий город. Он стоял на высоком зеленом холме, окруженный полями, умытый утренним светом.

В чистейшей синеве неба сверкало солнце. Звон серебряных колоколов долетал из города. В тот день была Страстная пятница.

Я уснул. Солнечный свет бил мне в глаза, но я не чувствовал этого, мое лицо было в тени от зонтика.

Рядом со мной сел на скамейку маленький старик в крахмальном пожелтевшем воротничке, раскрыл зонтик и держал его так, чтобы защитить меня от света.

Сколько он так просидел, я не знал. Проснулся я, когда солнце стояло уже довольно высоко.

Старичок встал, приподнял котелок, сказал по-польски « пше прашам » – « извините » – и ушел.

Кто это был? Старый учитель или железнодорожный кассир? Или костельный органист? Но кто бы он ни был, я остался благодарен ему за то, что в дни войны он не забыл о простой человеческой услуге. Он появился, как добрый старенький дух из тенистых улиц Люблина. Из тех улиц, где скудно и чисто жил отставной служилый люд, где последней радостью человека осталась грядка настурций у забора и коробка из-под гильз с папиросами, набитыми крымским душистым табаком. Потому что дети уже разлетелись по свету, жена давно умерла, а все старые журналы – и « Нива » и « Тыгодник иллюстриваны » – давно перечитаны по нескольку раз.

"Беспокойная юность" из "Повести о жизни" К. Паустовского.
Глава "За мутным Саном"